
Александр ЛАСКИН

ЖЕНЫ МАТЮШИНА

Документальный роман

Слушай, ты, безумный искатель,
мчись, несись,
проносишь, нескованный
опьянитель бурь.
Елена Гуро

Бедная красивая барышня —
она не умела летать!..
Елена Гуро

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДО. 1906—1917

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Петербург

Все начинается — век, жизнь Ольги Громозовой. Много лет назад для таких барышень Петр создал Петербург. Уж очень ему хотелось, чтобы они удивлялись. Не только прямым улицам и прекрасным зданиям, но буквально всему, что встречается на пути.

Кто-то впервые увидел автомобиль, а Ольга узнала, как выглядит помидор. Сперва она решила, что это сорт капусты. Когда разобралась, представила натюрморт. Вот бы красное смешать с белым и зеленым! Прежде чем съесть, хорошо бы это нарисовать.

Приятно думать о помидорах и знакомстве с художниками, но сейчас это не главное. В Петербург Громозова приехала не развлекаться, а поступать в Женский медицинский институт.

Институт даст ей ощущение своих прав. Только земский врач и государь император могут сказать: «Это не совет, а приказ». При этом так сверкнуть глазами, что все покорно опустят головы.

Александр Семенович Ласкин родился в 1955 году. Историк, прозаик. Доктор культурологии, профессор Российского государственного института сценических искусств. Автор 23 книг (вместе с переизданиями), в том числе: «Ангел, летящий на велосипеде» (СПб., 2002), «Долгое путешествие с Дягилевыми» (Екатеринбург, 2003), «Гоголь-моголь» (М., 2006), «Время, назад!» (М., 2008), «Дом горит, часы идут» (СПб., 2012; 2-е изд: Житомир, 2012), «Дягилев и...» (М., 2013), «Мой друг Трумпельдор» (М., 2017), «Белые вороны, черные овцы» (М., 2021). Автор сценария фильма «Новый год в конце века. Неизвестные Дягилевы» («Ленфильм», 2000). Лауреат Царскосельской премии (1993), премий журналов «Звезда» (2001), «Нева» (2017), премии им. Н. В. Гоголя (2020), премии «Театральный роман» (2021) и др. Живет в Санкт-Петербурге.

Все бы так и было, если бы Ольгу приняли. Лучше бы ее экзаменовал Петр! Его бы устроило ее неведение, а у комиссии возникли вопросы. Ей предложили позаниматься еще и поступать на следующий год.

Раз ты оказалась в Питере, то как расстаться с этим городом? Не повезло с одним, может, выйдет с другим? Почему бы ей не попробовать добиться счастья для всего человечества?

Да, так, и только так. Вот бы еще дальние цели совместить с ближними! Хотя бы с самым скромным жалованьем. Чтобы что-то есть и где-то жить, Громозова поступила продавщицей в книжную лавку.

Впрочем, не только для этого. Лавка — это практически библиотека. Читаешь целыми днями. Ненадолго отвлечешься на покупателя, а потом опять зарываешься в книгу.

Так Ольга проштудировала все медицинские издания и еще с десятков философских. В некоторых из них рассказывалось, как можно поучаствовать в истории.

Опять ей что-то мерещилось. Разве она хуже Гавроша, да и прилавок — чем не баррикады? Тут проходит граница, отделяющая мир, принадлежащий книгам, от мира, где они составляют меньшинство.

Вскоре у нее появились новые знакомые. Сперва они к ней присматривались, а потом дали задание. По городу разбросано много явок, и ей поручалось их контролировать.

Выглядело это так. Приходит покупатель, разглядывает новинки. Для большего правдоподобия может что-то купить. Затем они остаются наедине, и она сообщает адрес конспиративной квартиры.

Дальше сценарий известный. Надо незаметно войти в дом и так же тихо его покинуть. Стать усатым извозчиком или бородатым торговцем фруктами и какое-то время существовать в этой роли.

В общем-то, рисковали все. Ольга не меньше, чем тот, кто изображал покупателя. Он мог оказаться тем, кто скрывается от полиции, и тем, кто в полиции состоит.

Громозову раздражало, что все происходит медленно. Революционеров много, но революция все время откладывается. Чтобы ускорить события, Ольга перешла к более действенным средствам.

Теперь она заворачивала не книги, а нечто пообъемнее. Да что тут сравнивать! Книгочей еще не дочитает страницу, а карета со всем содержимым уже взлетела на воздух.

Заметьте, все это один человек. Ольга беседует о литературе, помнит десятки явок и делает гремучие смеси. Совсем некогда посмеяться и пококетничать. Имеет она право улыбнуться лишний раз? Хотя слово «революционер» мужского рода, но невидимые лучики ей к лицу.

Тюрьма и после

Громозовой представлялось что-то вроде брюлловской «Гибели Помпеи». Входишь в картину и оказываешься среди голых торсов и воздетых рук. Вот почему, когда ее арестовывали, в голове мелькнуло — это то самое!

Видно, что-то не разглядела. Из-за этого не распознала шпика, а тот сообщил куда следует. Взяли ее прямо у прилавка. За минуту до этого она расхваливала покупателя новую книгу Горького.

Опасно политическому оказаться вместе с уголовниками. Не ровен час, распропагандирует. Поэтому ее определили в одиночку. Монологи тут произносить не перед

кем, а фантазируешь вволю. Представляешь, как к власти приходит кто-то из покупателей лавки.

Времена, конечно, не лучшие, но не самые злостные. Находящиеся под надзором могут покидать Петербург. После тесной камеры хочется простора. Вот почему Горький начал пьесу в Петропавловке, а заканчивал в Ялте.

Кстати, пьеса называлась «Дачники». Что только не придет в голову заключенному! Возможно, Алексей Максимович сперва представил летний день, себя в компании отдыхающих, а затем прибавил сюжет.

Пока Ольга не пишет и писать не намерена. Да и для чего еще одни «Дачники»? Лучше отправиться в Уусикиркко и почувствовать себя горьковской героиней.

Финляндия — небольшая страна, но здешних далей хватит на всех. Куда не помотришь — края не видно. Даже лес тут не темный, а светящийся, весь пронизанный солнечными лучами.

Уусикиркко — давняя любовь семейства Гуро. Елена еще не приехала, но здесь ее старшая сестра Екатерина. Она решила «прогулять» Ольгу, а заодно кое-что с ней обсудить.

Дело в том, что Екатерина тоже тяготеет к острому и обжигающему и недавно посидела в тюрьме.

Часто не знаешь, что найдешь. После тюрьмы Екатерину сослали в Вятку, а здесь жила Громозова. Вряд ли библиотекарь читальни при Кожевенном заводе уже думала о революции, но старшая Гуро ей все объяснила. Подготовила к работе в подполье и последующему аресту.

Обычно после зимы отдыхающие редко улыбаются, но девушки были настроены позитивно. Такое, согласитесь, выпадает не всем. Несколько месяцев за решеткой — это уже биография.

В Уусикиркко позволено то, что запрещено в Петербурге. На Невском не покричишь, а тут — пожалуйста. Да и темы любые. Моды и скандалы их не интересуют, а о революции они говорят с воодушевлением.

Что это за зверь такой, пока не очень ясно, но это не мешает разговаривать громко и бурно жестикулировать.

От всех прочих «идейные» отличаются тем, что мыслят слишком прямо. Ничто, даже финские красоты, их не отвлечет от главного. Сейчас они хотят понять, что будет через ритуальные чеховские «сто-двести лет».

Как уже сказано, Ольга из мечтательниц. А тут еще чистый воздух, голоса птиц, всюду мелькающие белочки. Они не отделяют себя от людей. Можно протянуть руку и погладить коричневую шкурку.

Сразу представляешь новую жизнь. Вот же она — не где-то на горизонте, а, подобно лесу и воздуху, буквально везде.

Появление Елены Гуро

Пропустим шесть лет и окажемся в апреле двенадцатого года. Теперь Ольга и Екатерина живут в Териоках. Впрочем, пейзаж тот же. Да и разговоры не изменились. Словно в Уусикиркко они начали говорить, а сейчас продолжают.

Итак, революцию обсудили и уделили внимание белочкам. Чего ждать еще? Барышни скучают и собираются в город.

Тут приезжает Елена. О том, что Ольга и Екатерина мыслят себя революционерками, знают несколько человек, а о ее прозе и живописи отзывались Блок и Вячеслав

Иванов. В последнем номере «Трудов и дней» Иванов пишет о ее второй книге «Осенний сон»: «Тех, кому очень больно жить в наши дни, она, быть может, утешит».

Им бы тоже хотелось, чтобы их хвалили, но обычно в эти моменты рядом никого нет. Все же одно дело сказанное наедине, а другое — опубликованное в журнале. Поэтому рецензии они воспринимают пристрастно. Примерно так думают: почему одним все, а другим ничего?

Муж у Елены тоже не такой, как у их приятельниц. Его официальный статус — первая скрипка Придворного оркестра, а неофициальный — ни на кого не похожий художник. В одном случае он играет по нотам, а в другом все делает не по правилам.

Кстати, и с революцией у них свои отношения. Екатерина и Ольга ее только замышляют, а Матюшины в этом преуспели. Ведь перевороты могут совершаться как в глобальном масштабе, так и в скромном пространстве страницы и холста.

Как тут не позавидовать? С появлением Елены в усыпляюще-ровной дачной жизни возникает драматургия.

Драматургия предполагает взрывы. В новой драме они случаются на ровном месте. Вот и сейчас Ольга раскачивается в гамаке и укоряет подругу: «А как же общественные темы? Простые люди тебя интересуют меньше, чем природа».

Ссора назревает, и сходит на нет. Была у Елены такая манера, подмеченная одним знакомым. Она так смотрела на собеседника, словно видела его с другого берега. Один такой взгляд, и вопросов больше не возникало.

Близорукие видят даль сквозь туман, а дальноруким не разглядеть близкое. Не надо быть глазным врачом, чтобы убедиться: Елену волновало то, что рядом, а сестру с подругой то, что далеко.

Действительно, в природе всегда что-то происходит. Только успевай заметить и дать этому имя. Вот дерево «с тяжелой кудрявой головой», а это стрекоза «голубей неба»...

Ни одна из дачниц не красавица, но, пожалуй, Елена самая некрасивая. Рост небольшой, нос картошкой, скулы выступают. Легко представить ее не за письменным столом или мольбертом, а где-нибудь на сенокосе.

Елена француженка по отцу и русская по матери, а уродилась чуть ли не коренной жительницей Финляндии. Если у нее есть что-то особенное, то только глаза.

О ее взгляде мы еще скажем, а пока упомянем, что она все время торопится. Казалось бы, куда ей спешить, а она тормозит подругу. Посмотрела на рисунок, что-то быстро о нем сказала, перевела взгляд на ручей. Прямо-таки потребовала: «Бежим, посмотрим».

Сотни таких вспышек не оставили следов, а эта запомнилась обоим участницам. Лучше всего их описала Гуро в рассказе «Щебет весенних».

Сперва набросала контур рубашки с тонкими бретельками. Затем, еще парой штрихов, «молоденькие, тоненькие, некрасивые» косы. Когда вырисовался портрет, она ее назвала. Имя — Олли, а по сути — «найденная, наше сокровище».

Сказала — и опровергла себя. Найденная — значит определившаяся, а Ольга всегда в движении. Только мы ее разглядели, а бретельки с косами растворились в луче света.

«Ты пушковатый скромный луч мой — Олли! Когда ты выскользнула на балкончик, видна стала на рыжей двери и смотрела в изумруд ветвей».

Лучу не поспеть за ручьем, а ручью не угнаться за автором. Описывая его, Елена говорит о себе — сразу представляешь, как она волнуется, успокаивается и вновь начинает сначала.

«На ручей побежали, — пишет Гуро, — суровый и бешеный, и в мокрых хлопьях, и в вихре просырали... Сумасбродство же, ей-богу!»

Еще о Гуро и минуте

Иногда проза открывает то, чего никогда не признаешь в авторе, но тут удивляет сходство. По ее произведениям представляешь маленькую женщину, которой интересно все. Вряд ли с таким темпераментом напишешь роман. Самое большее, текст в две-три страницы.

Как говорится, мал золотник — да дорог. В Уусикиркко, Мартышкине или Териоках в этом убеждаешься на каждом шагу. Все, чего бы не заметил в городе, тут становится важно. Нагибаешься или поднимаешь голову, и ты уже приобщен.

Читаешь Гуро и представляешь дачную жизнь. В ней нет ничего обязательно. Взглянула в окно — и вот вам рассказ. Если бы сейчас пошла в сад, написала бы о другом.

Фраза немного расслабленная, часто уводящая в сторону. Кстати, линия ее рисунка столь же быстрая и легкая. По словам Матюшина, Елена не разделяла литературу и живопись. Начнет с наброска карандашом, а на том же листе возникает история. Бывало, наоборот. Запишет свои ощущения, а итог подведет в картинке. Получится, что одно объясняет другое.

Неизменно одно — ее проза и картины говорят о чем-то большем. Да и сама жизнь, с ее точки зрения, представляет что-то большее. В реальности природа не одушевлена, а у нее звезда «теплая», калоши «гордые», «лошади стали ночнее».

Этот мир не только живет и чувствует, но участвует и даже рассказывает. Вот она рисует полосатую кубышку, и у нее выходит портрет. Не нечто, а некто. Полный такой субъект, буквально надутый ощущением превосходства.

Кстати, этот толстяк проник и в ее прозу. Гуро называет «пузатых кубышек с яркими полосками, груды овощей с черных огородов и веселых, добрых детей, которые гладят пушистых кроликов». Это и есть «мир умираний, страданий, горя, концов и начал», и в нем для всего, тут перечисленного, есть свое место.

Гуро умеет тайное сделать явным. Казалось бы, разве можно изобразить вкус? На ее рисунке он стал светом и образовал что-то вроде нимба.

Перед нами опять портрет. Не просто яблоко, а, так сказать, яблоко «с человеческим лицом». Его можно съесть, но лучше рассматривать. Столько в нем красоты и искусства.

С предметами и плодами все ясно, а что люди? Вот Матюшин повернулся к окну. В поднятых руках у него горшок с цветами. Он его не столько держит, сколько предъявляет как самый главный свой аргумент.

Гуро не раз рисовала своих героев спиной к зрителям. Их положение не мешало ей рассказать о них — и о себе. Вот так же с бочонком и яблоком. Можно не показывать лицо, но при этом лицом быть.

В искусстве и в жизни Елена вела себя одинаково. В некотором смысле отворачивалась. Кто-то говорит о себе прямо, ничего не скрывая, а она на примерах.

Мы видим бочонок, а на самом деле кого-то из ее знакомых. Яблоки на холсте свидетельствуют о неземном свечении. Напряженная спина мужа подтверждает связь с белесым небом за окном.

Как говорилось, для Гуро жизнь состоит из мгновений. На ее картинах и в рассказах запечатлен след минуты. Если это так, то надо спешить. Отвлечешься, и впечатление испарится. Предстанет искаженным воспоминанием.

Она вообще недоверчива ко всему длительному. Это относится и к публикациям. Как-то не вяжется нечто вспыхивающее и гаснущее с твердой обложкой и хорошей бумагой.

Это потом она поняла, а сперва поступала как все. Ходила по редакциям и с волнением ждала ответа. Несколько журналов написали что-то обтекаемое, а «Русская мысль» ответила грубо. Даже не хочется повторять. Что-то о том, что хорошо бы почитать классиков и поработать над стилем.

Тут-то ей все стало ясно. Она решила печататься только с единомышленниками. Ради этого они с Матюшиным создали издательство «Журавль».

В других местах все чужое, а тут свое. Редакционное совещание не отличается от встречи друзей. Тем более что все происходит в их столовой при участии пепельницы в виде галоши.

О пепельнице еще будет речь, а пока скажем, что между пережитым и запечатленным расстояние было столь же коротким, как между написанным и изданным. В первом случае увидела и сразу это записала. Во втором — закончил книгу, а уже через пару дней держишь ее в руках.

Скорость обеспечивалась тем, что книги, как гравюры, печатались литографским способом. О дистанции говорило только название. Впрочем, в последних изданиях Матюшин вернулся с неба на землю и переименовал «Журавль» в «Дом на Песочной».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Гуро + Матюшин =

Пока место Матюшина в нашем рассказе такое, как на упомянутом полотне. В это время Елена жила на даче в Териоках и старалась угадать, чем муж занят в городе. Наверное, так думала: сейчас он смотрит на небо, а небо глядит на него.

Наконец (уже не на холсте, а в этом тексте) Михаил Васильевич поворачивается к дачникам. На нем кожаный шлем, его мотоцикл извергает клубы дыма... Вот он, «бог на машине»! Даже рядом с революционно настроенными барышнями муж Елены выглядит радикальней.

Такие впечатления не забываются. Ольга еще не разглядела Матюшина, но уже признала в нем футуриста. Ведь футуристы воспевают скорости и движение, а он в эту минуту был скорость и движение, буря и натиск.

С Гуро эта картина не очень вяжется. Впрочем, рядом с ней лишним казалось многое. Особенно слова. Сколько бы ты их произнес, она ответит одним или двумя.

Ее взаимопонимание с мужем определяли более важные вещи. Разговор о взгляде впереди, а пока упомянем кривую. В этой семье считали, что прямая — дань общему мнению, а индивидуальна только волнистая линия.

Это верно как для творчества, так и для жизни. Чтобы встретиться с Гуро, Матюшин должен был свернуть в сторону, обзавестись семьей и детьми. Впрочем, женщину, похожую на Гуро, он рисовал задолго до знакомства. Значит, мечты не требуют подтверждения. Если что-то мерещится, то это уже есть.

Когда они стали жить вместе, Михаил Васильевич так ее и нарисовал — как воплощенную грезу. Светлую не только платьем и шапочкой, но всем существом. Не просто стоящую на фоне леса, но живущую с ним заодно.

Немного о жизни до Гуро

Если Елену Матюшин рисовал много, то первую жену Марию лишь несколько раз. Дело в том, что они очень разные. Одна хрупкая, а другая целиком погружена в реальность. Нежные и прозрачные краски, которые любит Михаил Васильевич, ей не очень подходят.

При всем почтении к легкости и воздушности отдадим должное прочности и постоянству. Пока Матюшин не встретился с Гуро, его жизнь была совершенно понятна. Детей четверо, положение уверенное. Казалось бы, чего желать еще? Вроде все состоялось, и можно просто радоваться жизни в кругу близких людей.

К достижениям Михаила Васильевича надо прибавить то, что он — лицо, приближенное к императору. Если государь сидит в первом ряду, а он в оркестре, дистанции почти нет. Дело не в расстоянии, а во внимании. Когда что-то говорили министры, царь слушал вполуха, а его скрипке буквально внимал.

Все же вернемся к женам. Чем они непохожи, Матюшин объяснил сам. Вернее, нарисовал. Вот Елена — белое пальто и белая шапка в лучах света, идущего от сосен. А это — Мария. Летняя панама, румянец во всю щеку, свежесть во взгляде и настроении.

Елена вписана в пейзаж, чуть ли не стала его частью, а Мария существует сама по себе. Как отделить самодостаточность от самонадеянности? Она тоже знает, что судьба удалась, и это уже навсегда.

Так бы и продолжалось, если бы не странный поворот к живописи. К той жизни, что уже состоялась, Матюшин прибавил еще одну. Мария и с этим справилась. Не отговаривала, не жаловалась подругам, а только спросила: «Что я могу для тебя сделать?»

Казалось бы, вот — идеальная жена, но тут действовало то же правило кривой линии. Чтобы понять, что было дальше, можно не уподобляться школьникам, подсмотревшим ответ в конце задачника. Тот, кого считали хозяином в доме, стал гостем — не очень частым и не больно ожидаемым.

Впрочем, прежде чем подойти к этому итогу, надо еще о многом рассказать.

Перемена участи

Следует ненадолго вернуться назад. Как уже ясно, семья образцовая, что подтверждается таким документом¹. Через пять лет после женитьбы на Марии Ивановне канцелярия оркестра потребовала разъяснений. Все же не у всех жены француженки, да еще австрийские подданные.

Спрашивали не прямо, но, судя по всему, были поняты. В ответе сообщалось, что Мария перешла в православие и стала Матюшиной. Чего не сделаешь ради семьи! Если они состоят в браке, у них все должно быть общее. Как вера, так и фамилия.

Тем удивительней измена профессии. Это же угроза всему, что создавалось столько лет! Мария согласилась с таким поворотом, но при этом думала: а что если не получится? Наконец, он нарисует лошадь, а потом узнает, что в этом умении нет ничего особенного.

Посомневавшись, Мария все отлично придумала. Путь оказался короче, чем можно предположить. Так бывает в игре в шахматы. Достаточно сделать точный ход, и ты, считай, победил.

Художники редко выбирают на концерты, но у нее глаз-алмаз. Она углядела в зале академика живописи Крачковского. Если ему нравится, как Матюшин играет на скрипке, он не откажется посмотреть его рисунки.

Так она поступала каждый раз. Находила выход. Или подводила к нему мужа. Некоторое время он колебался, а потом признавал ее правоту.

Был ли он ей благодарен? Тем более что детей у нее не четыре, а пятеро. Хотя Михаил Васильевич и взрослый, но хлопот с ним не меньше, чем с маленькими.

¹ Здесь и далее (кроме специально оговоренных случаев) цитируются документы из папки «Канцелярии Придворного оркестра дело артиста Михаила Михайловича Матюшина», которая хранится в Санкт-Петербургском Центральном историческом архиве (ЦГИА).

Как положено ребенку (пусть даже пятому), Матюшин все время спорил. Наверное, у них с женой были хорошие минуты — ведь дети иначе не рождаются, — но чаще он был недоволен. Не раз говорил, что ощущает себя «холодным человеком» и счастья ей не принесет.

Хорошо, что Мария такая хозяйственная, но ему хотелось другого. Если опять вспомнить о прямой линии, тут все было слишком ровно. От жизни, как и от искусства, Матюшин ждал резких акцентов и поворотов.

Все же лучше не заноситься в далекие дали, а честно исполнять свои обязанности. Воспитывать детей, служить в оркестре. Делать все то, что уже неоднократно приносило ему успех.

Так будет двадцать, сто лет, но когда-нибудь закончится. На том свете тебя спросят: «Было ли у вас что-то яркое?», и ты поймешь, что ничего. Все как у всех — семья и работа. Ни на что больше времени не оставалось.

Достаточно того, что он и так многое пропустил. Например, слишком поздно пришел к рисованию. Все же сорок с небольшим — это не двадцать. Если бы музыкой и живописью Матюшин занялся одновременно, результат был бы другим.

Утешает то, что так не только у него. Русское искусство тоже запаздывает. Ему куда больше лет, а оно продолжает копировать себя. Какого художника ни возьми, он или передвижник, или — еще хуже! — академист.

Правда, появляется новая поросль. Их мало кто знает, да они еще не раскрылись, но это дело времени. Один из них Михаил Васильевич. В оркестре его свобода ограничена композитором и дирижером, а у мольберта он сам по себе. Никто — даже старый Стасов или молодой Бенуа — не запретят ему рисовать так, как он считает правильным.

Ученик и учителя

В названии «Школа общества поощрения художеств» смущает слово «школа». Сразу возникает мысль о начальных классах и буквах алфавита. Тем более странным казался новый студент.

У сокурсников Матюшина едва пробиваются усы, а к нему обращаются по имени-отчеству. Одни иронизировали по этому поводу, а другие относились с почтением и одалживали деньги на обед.

Наверное, правильнее было бы одеваться попроще, но Михаил Васильевич решил выделиться. Завел брутальные усы, золотой перстень и трость. Поведение тоже было не рядовое. Обычно в студентах ценят послушание, но он не хотел быть как другие.

Сперва Матюшин ходил на занятия к Крачковскому, а затем стал заглядывать к Ционглинскому. Менять учителя, правда, не спешил. Если однажды тебя назовут перебежчиком, то ты так и останешься с этим клеймом.

Кстати, Мария Ивановна тоже просила не торопиться. Все же это она нашла Крачковского, а он отнесся к ней внимательно. Долго смотрел работы — то издали, то приближая к глазам, — а затем сказал: беру!

Да и можно ли изменять своему первому учителю? Это же все равно что неверность в браке.

О том, чтобы изменить семье, он пока не думает, а предпочтения у него меняются. Если позволено выбирать между музыкой и живописью, то и учителей у него может быть несколько. Правда, объявлять об этом необязательно. Лучше пойти не прямо, а в обход.

На Литейном Ционглинский вел частную студию. В начале дня он подчинялся руководству школы, а в конце был первым лицом. Бывало, выслушает то, что от него требуют утром, а про себя думает: вечером все сделаю наоборот.

Ян Францевич хотя и преподавал, но разговаривать не любил. Зачем что-то декларировать, если за тебя это делает искусство? Любая его работа подтверждала, что он видел себя импрессионистом. Те, кто еще не привык к этому слову, называли его «впечатлистом».

Вот достойная цель. Воспитывать новое поколение — и учиться самому. Не только запечатлевать интересные виды, но стараться смотреть больше. Где только ему не довелось побывать! Даже там, где не ступала нога русского художника.

Вернется, к примеру, из Африки, соберет друзей. Они рассказывают, сколько продали картин и в каких пирушках поучаствовали, а он о том, как охотился на львов и совершал восхождения на гору.

При этом никакого «делай, как я». Зачем домоседа звать в дорогу, а кубиста агитировать за импрессионизм? Не лучше ли учить не готовым приемам, а собственно творчеству — умению делать что-то свое?

Ционглинский такой же перебежчик, как Матюшин. До Петербурга он учился в Варшаве на медицинском, а потом на физико-математическом факультетах. За этой переменой последовала еще одна. Преподаватели в академии утверждали, что нам не по пути с французами, а он их не послушал.

Еще учителя сближает с учеником то, что они оба музыканты. Правда, Ян Францевич не метил ни в первые скрипки, ни даже в последние пианисты. Устанет от того, что его не слышат, и садится за фортепиано. Шопен возвращал его в тот город, в котором он начинал рисовать, но еще не думал преподавать.

Так жил Ционглинский. Путешествовал и музицировал. В живописи тоже открывал что-то вроде музыки и новых путей. Так что в любом своем качестве он делал примерно одно.

Если живопись — это музыка и дорога, то главное не сюжет, а все то же впечатление. Даже чистый лист заставляет тебя трепетать. На нем еще ничего нет, но ты уже что-то предчувствуешь. «Поймите, какая красота — белая поверхность, — говорил он, — вы должны сделать так, чтобы она стала еще красивее».

Умер Ционглинский так, как и надлежит серьезному живописцу. Защищая то, что он считал самым важным в искусстве.

Среди его воспитанников был один сезаннист. В честь своего кумира молодой человек даже отрастил бороду. Как-то Ян Францевич заговорил с ним о кубизме. Сначала ученик возражал, но вскоре аргументы у него закончились. Тогда он взял первый попавшийся холст и надел учителю на голову.

Студийца увезли в лечебницу, а Ционглинский слег в постель и через несколько месяцев умер. Больно серьезной была обида. Пострадавшая картина была импрессионистической, а это обижало не только его, но и любимых мастеров.

Гуро, Матюшин и выбор пути

Тепло... холодно... горячо... Так и будем двигаться. Начнем с того, что среди студийцев только Матюшин и Гуро чувствовали себя независимо. Один состоял на службе в оркестре, а у другой отец был генералом.

Генерал Гуро был настолько нужен начальству, что квартиру ему предоставили в Генеральном штабе. Путь из дома до кабинета занимал минут десять. Тут его ожи-

дала никогда не уменьшавшаяся гора бумаг. На каждой следовало написать: «Отказать» или «Разрешить».

На службе Генрих Степанович был строг и требователен, а дома добр и снисходителен. Возможность исполнять прихоти дочерей он считал своей привилегией.

Можно вспомнить и других родственников Елены. Никто не нажил богатств, но жизнь у всех была насыщенная. Жаль, никто о себе не написал. Слишком много у каждого было дел.

Дед со стороны отца, Этьен Гуро, был сержантом наполеоновской армии. В отличие от своего императора он не бежал из России, а поселился в ней навсегда. Назвался Степаном Андреевичем, но остался французом — преподавал язык своей родины и составлял французские словари.

Второй дед, Михаил Борисович Чистяков, редактировал «Журнал для детей», сочинял сказки и стихи. Не чуждалась литературы и его жена, Софья Афанасьевна. Так что первые книги, прочитанные внучкой, написали самые близкие ей люди.

У всех были свои занятия, но каждый имел в виду высшую цель. Степан Андреевич не изменил родному языку, а Михаил Борисович детям. Генрих Степанович визирировал рапорты и донесения и этим способствовал порядку в армии.

Предки Гуро известны до четвертого колена, а у Матюшина близкие наперечет. Какой может быть род, если его мать начинала в крепостном звании? Правда, род был у отца, но отца он почти не знал. Существовал кто-то сильно пьющий — принесет сласти, а потом пропадает надолго.

Причастность родственников к литературе еще до рождения определила участь Гуро. Матюшину приходилось рассчитывать только на себя. Вот почему его путь — словно в подтверждение теории о кривой линии — оказался непоследовательным.

Ранние годы прошли в Нижнем Новгороде. Если бы тогда ему сказали, что где-то есть искусство, он бы пожал плечами. В жизни хватало разного, но музыки и рисования в ней не было совсем.

Рядом недоедал и подворовывал Алеша Пешков. Вряд ли будущий писатель пересекался с будущим художником, но среда у них была одна. Улица научила их не сдаваться. Лупят тебя, а ты так же сильно бьешь в ответ.

В детстве Михаила подстерегал первый выбор. Избери он неправильную дорогу, не было бы в его жизни скрипки с мольбертом.

Как положено «типам Горького», Матюшины пьянствовали. Лет в семь Михаил почувствовал себя взрослым и тоже стал прикладываться. Делал он это не без расчета на впечатление. Особый шик заключался в том, что пил он не дома, а в кабаке.

Кабатчик почти плакал, но наливал. Во-первых, заплачено, а во-вторых, это не Общество трезвости, и не ему перевоспитывать граждан.

Как удалось бросить? Скорее всего, градус искусства оказался сильнее. К тому же к этому времени у него появилось чувство пути. Он знал, что, если оно что-то подсказывает, ему не надо перечить.

Сестра отца, актриса Сабурова, звала в Петербург, но мать воспротивилась. Уж как непросто ей было бегать с работы на работу да еще приглядывать за шестью детьми, но она не хотела торопить события.

Через многие годы Михаил Васильевич признал, что все было правильно. Не хорошо и не плохо, а так, как должно быть. «...Я радуюсь... решению моей матери, — писал он. — Я бы ни за что на свете не поменялся ни с кем жизнью».

Окажись он в Петербурге раньше, все сложилось бы иначе. Без Придворного оркестра, женитьбы на Марии Ивановне и встречи с Гуро. Звали бы его так же, но это была бы другая судьба.

Цветаева писала, что есть художники с историей и художники без истории: «Первых можно представить как круг, а вторых как пушенную стрелу». Иначе говоря, одни самодостаточны, замкнуты на себе, а другие открыты всем ветрам.

Матюшин был «художником с историей». До знакомства с Гуро он уже многое пережил. В отличие от него Елена обошлась без «истории». Главные для нее события происходили на глубине, у мольберта и за письменным столом.

Не случайно Михаил Васильевич стал не солистом, а музыкантом в оркестре. Он любил шум и разноголосицу. Елена была тишейшая. Представьте, что в большую компанию чудом попало небесное существо. Все перебивают друг друга, а она молчит. Сядет в дальний угол и весь вечер его не покидает.

Как уже понятно, до поры до времени в жизни Матюшина шума было немного. Если не считать вечно кричащих детей. Казалось, теперь все так и будет: домашние заботы, походы семьей в гости, радость от того, что Коля подрос, а Маша стала вышивать.

Интересно, как это тогда называлось? А что если тоже текучкой? Мелкие события проходили, как рябь по поверхности, но, по сути, ничего не менялось. Все ограничивалось оркестром, в котором он играл на скрипке, и домом, где он играл с детьми.

Живешь спокойно, хорошо ешь, много спишь, как вдруг все переворачивается. Как говорится, «бес в ребро». Сам себе удивляешься: странно в его возрасте стать художником, но еще рискованней влюбиться в Елену Гуро.

Что-то такое он чувствовал у мольберта. Все вроде получилось, но не хватает акцента. Хотя бы красной капельки в центре холста. Долго не понимаешь зачем она нужна, а потом смотришь: а ведь это точка! Не в том смысле, в котором запятая, а в том, в котором незаконченное становится целым.

О свойствах зрения

Есть практики, а есть теоретики. В Матюшине это соединялось. По крайней мере, его теории были не бесплодны. Каждый раз это был повод для новых картин.

Для Серебряного века в этом нет ничего необычного. Сколько раз в эту эпоху сперва возникало предположение, а затем все происходило как по писаному.

Рассказывая о встрече Гуро с Блоком, Михаил Васильевич написал, что поэт «не мог долго оторваться от Лены». Такая же мера внимания и погружения, с его точки зрения, отличала других гениев. Бетховен «сливался... с воздухом, ветром», а Лермонтов «напитывается... пространством».

Если ты отдаешь себя кому-то или чему-то, то какое может быть ячество? Вот чем Матюшин отличался от друзей-футуристов. Художник для него — это тот, кто способен отречься от себя.

Хорошо, что великие с ним заодно. Смотрят в оба, впитывают, проникают... Как бы он радовался, если бы его позиции разделяли не только люди с портретов, но и кто-то близкий.

Наконец это произошло. Матюшин открыл дверь в учебную мастерскую и увидел маленькую тихую барышню. Он бы прошел мимо, если бы не ее глаза. Она не просто смотрела, а превращалась в предмет своего интереса. Присваивала его своим зрением.

«Вспоминаю, как я впервые ее увидел, „нашел“ ее. — рассказывает Матюшин, — В тот день работающих было мало, и вдруг я увидел маленькое существо самой скромной внешности. Лицо ее было незабываемо. Елена Гуро рисовала „гения“ (с гипса). Я еще никогда не видел такого соединения творящего с изображаемым. В ее лице был вихрь напряжения, оно сияло чистотой отданности искусству. Закрывая дверь, я мыс-

ленно порицал себя за то, что не сразу обратил на нее внимание. С тех пор я постоянно наблюдал за ней и всегда поражался напряжению ее ищущих глаз».

Что это было? Наверное, «любовь с первого взгляда». На сей раз это не преувеличение и метафора, а ровно то, что случилось. Она смотрела — и этот взгляд решил все.

Матюшин тоже глядел во все глаза. Гуро поглощала «Гения», а он не отводил взгляд от незнакомой девушки. В эту минуту они уже были вместе. Все, что случится после, к этому ощущению прилагалось.

Помните, как в знаменитом романе? «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих!» С этого момента для него закончилась спокойная жизнь. Только что он не строил никаких планов, а вдруг понял, что выхода у него нет.

Случившемуся Матюшин дважды подвел итог. В дневнике он написал, что ее дар проникаться увиденным имеет отношение не только к искусству. «Это было золото моей жизни, мой сладкий сон, мои единые мечты всей моей жизни, и я этого не знал еще тогда. Эту прелестную мечту сменила чувственная». Последняя фраза в этой записи подчеркнута жирной чертой.

Второе объяснение более сложное. Чтобы это событие стало понятней, ему пришлось придумать новую меру времени: «В моей биографии лежит совершенно новое понятие о встрече художника с чем-либо, впервые поражающем его воображение. — писал он, — Эти моменты, останавливающие целиком на себе внимание художника, я называю „шоками“».

Значит, судьба движется невидимыми посторонним событиями? О том, что с ним произошло, пока не знала даже Елена. Ведь он с ней еще не познакомился. Да и потом долго наблюдал издалека.

Позже Матюшин увидит ее рисунки и прочтет рассказы. Впрочем, это было уже не так важно. Та, кто так смотрит, непременно создаст что-то значительное. Возможно, она сравнится с теми, кому дано «сливаться... с воздухом» и «напитываться... пространством».

Сейчас самое время перевести взгляд от Елены на Марию. Как сказано, первая жена была добрая и хозяйственная, но зрение имела обычное. Чрезмерная пристальность хорошей хозяйке вредна. Если она будет вглядываться, то ничего не успеет.

Михаил Васильевич уважал Марию за преданность и корил за то, что, кроме дома, ее ничто не интересует. Представьте, она не знает о четвертом измерении! Впрочем, зачем ей четвертое, когда столько сил уходит на первые три?

Со временем его теория оформилась. В ее основании лежали «взгляд» и «шок». С помощью этих понятий объяснялись не только любовь и обретение, но суть нового искусства.

От мыслей о взгляде — прямой путь к «расширенному смотрению». Эта идея предполагала, что художник видит все. То, что впереди, сзади, слева и справа. На его холстах мир предстает разъятым — и собирающимся воедино. Что-то такое делает «шок» в судьбе человека. Он приводит к разрушениям — и просветлениям, перерачивает жизнь — и вносит в нее смысл.

Сосредоточенность и рассеянность, поражение и победа

Матюшин столько размышлял на эти темы — и вдруг читает, что «видимый мир... представляет собой нечто весьма малое, быть может, даже не существующее по сравнению с огромным невидимым миром». Выходит, незнакомый ему Петр Успенский прочел его мысли? Скорее, похожие идеи приходят в голову сразу нескольким людям.

Наверное, кто-то из них был первым, но это не так важно. Главное, что теперь каждый не сам по себе.

Представляешь, как московский философ Петр Успенский едет из Москвы в Петербург. За чаем с пирогами они спорят о том, чего вроде нет, а на самом деле есть. Пытаются навести мосты между «четвертым измерением» и «расширенным смотрением».

К этим терминам мы еще вернемся, а пока упомянем, что у художника есть преимущество перед философом. То, о чем один догадывается, другой может увидеть и нарисовать. Для большей ясности Матюшин придумал термин: «метапредмет». Так именуется «сверхтело, растущее в пространстве другого измерения».

Как говорится — два пишем, три в уме. Рисуем относящееся к трем измерениям, но подразумеваем четвертое. Так что не обманемся сходством. Предмет может быть похож на настоящий, но он уже принадлежит искусству, а значит, в реальности его нет.

Матюшин был куда ближе к материальному, чем Гуро. Он ездил на мотоцикле, умел столлярничать. При этом понимал, что не всякий вопрос должен иметь ответ. В этом отличие школьной задачки от того, что можно назвать «метазагадкой».

Если есть «метапредмет» и «метазагадка», то есть и «метавзгляд». Одни смотрят, другие уясняют. Видят не первое, не второе, а последнее. Поэтому отношения Елены с бытом не складывались. Ведь для того, чтобы понять главное, все прочее следует пропустить.

Особенно досаждало Гуро железное и стеклянное. Прямо никакой управы! Посуда предательски билась, часы терялись, а затем обнаруживались в самых неожиданных местах.

Почему-то вспоминаются лебеди. На земле они забавно переваливаются и вытягивают шею. Взмах крыльев делает их красавцами и покорителями стихии.

Так Елена за работой чувствовала себя уверенно, а в жизни терялась. Увлечется ползущим жуком и забудет, о чем думала. Или настолько уйдет в свои мысли, что ничто другое ее не будет интересовать.

Ее подруга Ольга не без пристрастности отмечала такие промахи. При этом не забывала сказать, что все могло закончиться совсем плохо, если бы ее не было рядом.

«Подымаясь на дюну, я увидела под ветвистой сосной Елену Гуро, в белом платье и полотняном картузике с большим козырьком. Она то опускалась на колени, то вставала, медленно делала несколько шагов, стараясь разглядеть что-то.

„Что она тут колдует?“ — подумала я.

Гуро направилась ко мне.

— Опять ключ потеряла. Вечно со мной так получается! Давно уже ищу и, должно быть, только глубже в песок заталкиваю. У тебя, Олли, глаза зоркие. Поищи, пожалуйста».

Гуро назвала подругу «лучиком». Так и видишь, как лучик перескакивает с одного на другое и находит то, что искал. На сей раз это не понадобилось. Ключ висел у нее на шее да еще подпрыгивал при каждом шаге, словно говорил: я здесь!

Другой случай еще выразительней. Как-то Елена опрокинула чашку с кофе. Любая хозяйка пошла бы за тряпкой, а она замерла, как перед начатым холстом. Потом изменила пальцем контур лужицы. Всего несколько уточнений — и темное пятно превратилось в картину.

«— Посмотри, Мика, вот мостик, а здесь — цветущая яблоня. — передает ее слова Ольга, — А это длинноногий рыцарь, он собирается вскочить на коня!»

Скатерть отправили в стирку, а значит, лужа недолго имела отношение к искусству. Вряд ли это огорчило Гуро. Даже на минуту заглянуть в вечность — это, согласитесь, немало.

Вообще к вещам она была снисходительна. Сейчас они валяются из рук, а потом проявят радушие. Чуть ли не поприветствуют того, кому они интересны. Именно так повел себя серебряный крестик. Его уже считали потерянным, как вдруг, по словам одной знакомой Елены, он «спрыгивает с высоты гардеробного шкафа... и падает почти к моим ногам».

Громозова верила в причинно-следственные связи, в то, что называют петелькой-крючком, а выходит, есть иная логика. Такие мысли она выбрасывала из головы. Если о чем-то не думать, может показаться, что этого нет.

Летом на природе вообще не до размышлений. Тяжелая одежда отправлена на антресоли и заменена на легкие сарафаны. Всякая серьезность вызывает смешки. Впрочем, один поступок был явно не по погоде. Казалось, бедная девушка из провинции что-то доказывает пресыщенной генеральской дочке.

Дело в том, что стирала Ольга. Сама вызвалась это сделать. Сперва хозяева не придали этому значения, а когда поняли, что это не просто так, скатерть сушилась во дворе.

Громозова хотела показать Елене, чем они отличаются друг от друга. В то время как одна придумывает и воображает, другая спасает от ее фантазий их семейный быт.

Другие черты Елены

Ко всему прочему прибавим ребячливость Гуро. Хотя она была на восемь лет старше Ольги, но в этом союзе чувствовала себя младшей.

Как Елена реагировала на поучения подруги? Казалось бы, ей следует посмотреть «словно с другого берега», но она терялась и опускала глаза.

Да и что ей было сказать? Вот на бумаге она могла быть откровенной. Особенно если писала от другого — да еще мужского — лица.

«Я очень даже неловок, я — трус. Я вчера испугался человека, которого не уважаю. Я из трусости не могу выучиться на велосипеде... Я вчера доброй даме, которая дала мне молока и бисквитов, не решился признаться, что я — пишу декадентские стихи, из мучительного страха, — что она спросит меня, где меня печатают? И вот сказал, что главное призванье моей жизни с увлечением давать уроки. Сегодня я от стыда и раскаяния — колочу себя...»

Примечателен список опасностей. От детских (боюсь учиться ездить на велосипеде) до еще более детских (стихи пишу, но не признаюсь, что их не печатают). Не случайно в этот ряд попали бисквиты. Если ребенку дать что-то вкусное, он забывает о своих страхах.

Елена всегда занимала сторону маленьких. Да и она сама, как уже сказано, не очень от них отличалась. Взрослые в ее рассказах — это те, кто сам не фантазирует и не советует это делать другим.

«— Ах, отстань, не все ли равно. Это сказка, Леля, Дон Кихота не было никогда.

— А зачем же написали книжечку тогда? Мама, неужели в книжечке налгали?

— Ты мешаешь мне шить, пошла спать.

— Если книжка лжет, значит, книжка злая. Доброму Дон Кихоту худо в ней.

А он стал живой, он ко мне приходил вчера, сел на кровать, повздыхал и ушел...

Был такой длинный, едва ногами плел...

— Леля, смотри, я тебя накажу, я не терплю бессвязную болтовню».

То, что Леля и есть Елена, подтверждает другой рассказ. В нем все это она повторила от своего имени. Различия незначительные. Тут — «ногами плел», а там — «дрыгал». Еще не пропустим слово «несомненно». Все, что говорит юная упрямецка, оно вмещает в себя.

«Несомненно, когда рыцарь печального образа летел с крыла мельницы — он очень обидно и унизительно дрыгал ногами в воздухе, и когда упал и разбился, — был очень одинок».

Не зря «хитроумный идалго» стал героем Гуро. Оба не скрывали и даже демонстрировали свои странности. Легко представить, как рыцарь ищет ключи или разливает кофе. Не потому ли его — длинноногого, как журавль — она увидела в луже на столе?

Вообще «журавль» и «Дон Кихот» — любимые герои Гуро и Матюшина. Возможно даже, это один персонаж. Так что издательство могло быть названо не в честь птицы, а в честь странствующего рыцаря.

Остается понять, почему «плел» она заменила на «дрыгал». Это объясняет сюжета Матюшина «Дон Кихот». В ней нет плетения и ровной вязи, а есть синкопы и контрасты. Прямо-таки видишь рыцаря — он движется не плавно, а резко, не робко, а победительно.

Прежде говорилось, что между рассеянностью и сосредоточенностью нет противоречия. Затем мы увидели связь между странностью и вызовом, поражением и победой. Сделав эти выводы, перейдем к следующей главе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Громозова — зритель и персонаж

Ольга тоже уносила в эмпирию. Ей грезилось не только будущее человечества, но и собственное. Впрочем, без того было ясно, что возможны варианты.

Вот, например, вариант Матюшина. Нельзя не восхититься тем, как он работает у мольберта или — весь как божья гроза! — едет на мотоцикле. Вряд ли тут ей что-то обломится. Уж очень они с Еленой подходят друг другу.

Зато в компании футуристов у нее есть перспективы. Кто-то посетовал на то, что они перестали ругаться. Как-то это не по-футуристически! Если все «за», кто-то должен быть «против». Эта роль предназначалась Громозовой.

Она была вроде как народный глас. От имени своего родного города Слободского в Вятской губернии морщила лоб и раздраженно взмахивала руками.

Ольга выступала бы еще резче, если бы она не перепечатывала их тексты. Все же машинистка своего рода соавтор. К тому же неловко брать деньги у тех, кого ты только что критиковал.

На людях приходится себя сдерживать, а наедине говоришь все. Прямо заявляешь, что знакомые слова тонут среди «зовав» и «минав». Почему бы вам, Виктор, не почитать Плеханова? Какие сложные вещи он объясняет, а никакого тумана! Да и чем загадочное «крылышка» лучше понятного «летит»?

Эти разговоры ничем не заканчивались. Хлебников улыбался чему-то, находящемуся за пределами комнаты. В конце концов она решила представить, что это тарбарский язык. Нужно не разбираться, а печатать букву за буквой.

Вечной спорщице это непросто, но зато все довольны. К тому же дело не только в том, что пишут футуристы. Есть еще что-то, что ее в них привлекает.

Обычно в поклонниках у литераторов читатели, но Громозова больше зритель. Впрочем, они сами видят себя актерами. Иначе как объяснить желтую кофту и редиску в верхнем кармане пиджака?

Пусть они повторяются, но Чаплин тоже все время попадал впросак, и это никогда не надоедало.

Легко представить Чарли в роли футуриста. О рассеянности Гуро говорилось, но Хлебников от нее не отставал. Как-то вместо булки он засунул в рот коробок спичек. Если бы это проделал маленький человек с усиками, он бы округлял глаза и взмахивал тростью.

Иногда футуристы перебирали. Даже для Чаплина это было бы слишком. Городецкий читал стихи на арене цирка, сидя на лошади, а Бурлюк красил нос серебрянкой и писал фамилию на лбу.

Это обозначало, что к традиционному образу русского поэта — задумчивый взгляд и перо в руке, ямбы и хорей — эта компания не имеет отношения.

Громозова, как уже сказано, наблюдала. Мол, что еще они учудят? Она бы и дальше оставалась свидетелем, как вдруг стало не до того. После того как заболела Гуро, самые из них безбашенные сразу посерьезнели.

Вы не забыли, что Ольга хотела стать врачом? В институт она не поступила, но реакции у нее были, как у настоящей медички. Стоило ей услышать, что кому-то плохо, и она сразу спешила на помощь.

Это свойство связано не только с медициной. Есть такие люди, к которым все обращаются. Пусть даже она не поможет, но хотя бы скажет несколько утешительных слов.

Вскоре подопечных у нее станет больше, о чем мы узнаем из второй части, а пока Ольга существует в этом кругу. За него переживает и в каком-то смысле несет ответственность.

Елене в этом смысле принадлежало особое место. Она не только автор любимых книг, но родной человек. Тут никак нельзя оставаться зрителем. Следовало встать со своего места в зале, пробраться по ряду и оказаться среди действующих лиц.

Последняя поездка в Уусикиркко

В жизни наших героев много разных путей, но все они приводят к апрелю тринадцатого года. В этом месяце дача в Уусикиркко жила по расписанию процедур и приема лекарств.

Когда Гуро приезжала в эти места, у нее сразу прибавлялись силы. Вот и сейчас у них с Матюшиным был такой план. Если лекарства не помогут, можно прибегнуть к помощи леса и тающего снега.

Конечно, в этом решении таилась опасность. В городе есть врачи, а тут на много верст никого. Если природа не справится, то больше обратиться не к кому.

Как бы то ни было, обустроили для больной комнату и стали ждать чуда. Елене становилось только хуже. Может, дело в том, что целебный воздух перебивал запах лекарств?

Оставалось понадеяться на тишину. В городе постоянно что-то происходит, а тут новости сводятся к переменам погоды. Начинаешь верить в то, что если дождь сменяется солнцем, а холод теплом, любые неприятности не навсегда.

Теперь о многом ей приходилось догадываться. Не только о чистом воздухе, но о лесе рядом с их дачей.

Когда Елена бывала в лесу, ей вспоминался Рембрандт. На его картинах время вечно длящееся, а потому его можно уподобить пространству. Тут не дни и недели, а тьма и свет. Да и возраст деревьев примерно такой, как у рембрандтовских стариков. Он измеряется не годами, а веками.

В эти часы Гуро убеждалась, что в реальности больше искусства. Такое соотношение было и в ее жизни. Когда она поняла, что сына у нее не будет, ей ничего не оставалось, как его придумать.

В своих текстах она называет его по-разному. Словно у него, как у всего, что сочинено, есть черновики и варианты. В ее прозе и стихах юноша предстает как Вильгельм Нотенберг, барон фон Кранц, принц Гильом и Бедный рыцарь.

Так у Елены появилась еще одна биография. Сына не существовало, но его путь она прошла до конца. Когда сюжет был исчерпан, назначила ему последние сроки и проводила в двух стихотворениях.

Существуют такие литературоцентричные авторы. Они состоят из прочитанных или написанных ими книг. Вот что значит строчка: «...и не надо жалеть о нем». Это говорит не мать Вильгельма, а его автор. Приступая к новому замыслу, она прощается с прошлой работой.

За то время, что выпало Вильгельму-Гильому, он вытянулся, возмужал, стал похож, как говорила Гуро, на ученика Матюшина Бориса Эндера. Ничто не предвещало ухода. Что это было — болезнь, гибель в бою, упавший кирпич? Скорее всего, Елена понимала, что умирает а без нее он точно не сможет жить.

Гуро болеет

У одного жизнь длинная, как роман, а у другого короткая, как рассказ. Страница-другая, и все кончено. Можно только удивляться, что ее любимый жанр оказался судьбой.

Прежде она не разделяла себя и свои тексты. Все, что с ней происходило, отражалось в рисунках и записях. Сейчас ей хотелось многое скрыть. Уж больно все по-настоящему — и боли, и кошмары, и кровь на подушке.

Рядом с медицинскими склянками лежит тетрадка. Кажется, решается вопрос: чья возьмет? Уж как она сопротивляется, но страдания оказываются сильнее.

У Елены и прежде случались приступы, но сейчас все было иначе. Ведь приступ — это то, что проходит. Нынешняя боль могла быть глуше или острее, но никуда не уходила.

Не хотелось никого видеть. Особенно футуристов. Они ведут себя как на сцене: громко читают стихи и о них говорят. Вряд ли ей по силам этот напор. Да и врача надо слушаться. Он прописал тишину и присутствие рядом самых близких людей.

Елена зовет мужа или сестру, и кто-то из них появляется. Так и помогают в четыре руки. Все это напоминает детство. Когда в три года она заболела, их квартира сосредоточилась на лекарствах, сползшем одеяле и сказке перед сном.

Это родственники, а что остальные? Их всех следовало заменить Громозовой. Все же в отличие от друзей-поэтов она имела отношение к жизни, а не только к литерам в наборной кассе.

Через что только не прошла ее подруга! Книжная лавка, подполье, работа машинисткой... Все это перемешалось, и на свет явился «пушковатый скромный луч мой — Олли».

Разберем эту фразу на слова. «Луч» говорит о ясности и прямизне, «пушковатый» о тепле и мягкости. «Мой» подтверждает, что она воспринимала Ольгу как часть себя.

После первого письма Громозовой показалось, что замысел удался. Вместе с природой на помощь пришел деревянный дом. В помощи Елене участвовали не только стены, но даже половик.

«Боже, как здесь хорошо! Как в сказке!.. Мне все понравилось: стены бревенчатые, а потолок — медовый. Я давно о таком мечтала. И узенькая полоска половика, и только что выкрашенный пол, и три большие светлые комнаты. Я выбрала угловую, с окнами на юг и на запад.

Я буду здесь здорова. Я должна быть здорова. Правда, Олли?»

Вот такая эта барышня. Ее сверстницы заглядывались на серьги и кольца, а она на потолок. Правда, потолок был вроде как медом намазан. Цвет и запах свежего дерева обещали спасение.

О болезни сказано в конце. Сперва Елена говорит, сколько у нее сторонников. Потолок, пол, половик. Это, не считая мужа и сестры. Если все, что есть в доме, объединится, она должна поправиться.

Только Ольга порадовалась, что болезнь отступает, как пришла телеграмма: «Лене очень плохо, — писала Екатерина Гуро. — Хочет вас видеть. Приезжайте немедленно».

Не станем останавливаться на том, как Громозова добиралась. Она и сама этого не заметила. Если сказано «немедленно», думаешь только о том, чтобы успеть.

Наконец Громозова в Уусикиркко. В доме темно и пахнет лекарствами. Михаил Васильевич и Екатерина побледнели и исхудали, но делают вид, что надежда есть.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Придворный оркестр

В кино есть такой прием. Называется «А в это время...». Монтаж переносит нас в новое пространство, и мы видим ситуацию объемно — с одной, и, с другой стороны.

Хотя основные события происходили в Уусикиркко, но Петербург тоже поучаствовал. Хотя бы потому, что всякую отлучку Матюшин согласовывал с канцелярией.

Не зря оркестр прежде подчинялся военному ведомству. Скрипки и валторны не стреляли, но строгости не уступали армейским. Отпуск запрещался, а работа на стороне приравнивалась к сдаче врагу.

Жили музыканты в казармах Конюшенного ведомства. Все подчинялось одному. В спальне стояли в ряд железные кровати, а прямо за стенкой располагался концертный зал.

На фото коронавания императора Николая оркестранты в сборе. Мундиры делают их похожими друг на друга. Различаются они усами, бородами и количеством орденов. Одни получены за служение искусству, а другие — их больше! — за храбрость в боях.

В одном документе руководитель оркестра барон Штакельберг назван «начальником в строевом и хозяйственном отношении». Значит, оркестр — это не только хозяйство, но и строй. Действительно, музыканты на сцене выглядели красиво, как войска на построении.

К 1897 году оркестр переподчинили Министерству двора. Общее руководство связало его с Ботаническим садом, театрами и дворцовой полицией. Учреждения эти очень разные, но без каждого из них не представить географию жизни царской семьи.

Многое осталось, как прежде. Штакельберг не только назывался начальником, но продолжал расти в чинах. Вот он на фотографии — грозный, но справедливый — в форме генерал-лейтенанта. Ноты у него в руках подтверждают, что он всегда помнит о службе.

Со временем военного становилось меньше, а художественного больше. Впрочем, единообразие сохранялось. Правда, мундиры заменили костюмами егерей времен Елизаветы Петровны. Так что войско было скорее потешное.

Потешное — значит предполагающее перевоплощение. Надел мундир — и принял условия игры. Снял — и опять сам по себе. Матюшина такие метаморфозы расстраивали. Почему другие могут быть собой всегда, а он время от времени?

После того как Матюшин почувствовал себя художником, оркестр стал его тяготить. Впрочем, сразу уходить не хотелось. После двадцати пяти лет службы ему полагалась пенсия. Следовало немного потерпеть — и он больше не будет раздваиваться.

Все это подтверждала бумага. На языке, принятом во всех канцеляриях, в ней разъяснялось, что «в сентябре сего года вы окончите службу в Придворном Оркестре».

Михаил Васильевич не только рассчитывал на освобождение, но к нему готовился. Издательство «Журавль» выпустило книги жены и друзей. Это были первые шаги в новую жизнь, которую он посвятит футуризму и футуристам.

Не пора ли вступить медным? — ими по праву гордился Придворный оркестр. Вот они заиграли туш в честь предстоящих перемен, но как-то враз замолчали.

Даже громкоголосые инструменты обладают тонкой организацией. Иногда они чувствительней скрипок. Впрочем, в сочувствии Матюшину объединились все. Когда кто-то хотел его о чем-то спросить, ему говорили: лучше не надо, Елена Генриховна тяжело больна.

Матюшин обращается в канцелярию

Сперва проситель получает разрешение. Причем не устное, а письменное. Затем набирается терпения. Наконец в правом углу листа появляется закорючка. Значит, тебя заметили и удостоили резолюцией.

Матюшин никак не мог взять этого в толк. Почему его прошения движутся не экспрессом, а обычной скоростью? Называется это «бумагооборот».

Ситуацию усложнял его характер. Зачем обращаться в инстанцию, практически не имеющую лица, со своего рода письмом? Впрочем, по-другому он не умеет. Даже рисуя, обращается. В цветке или дереве угадывает нечто живое.

За годы, проведенные за мольбертом, ему стало ясно, что живопись дышит. Сочетания красок — все равно что вдох и выдох, понижение и повышение голоса. Может показаться, что картина сама себя спрашивает и себе отвечает.

Чтобы написать заявление, об этом надо забыть. На конкретный вопрос получаешь конкретный ответ. При этом обе стороны должны быть непроницаемы. Словно диалог ведут не люди, а шкафы или стулья.

Матюшин никак не мог отстраниться. Как он ни старался себя сдерживать, но за текстом слышалось: «После того как заболела моя Лена, я уже не живу».

Что будет дальше, он только догадывается, но «дело артиста Михаила Матюшина» знает все. Оно ясно и недвусмысленно говорит о финале. Даже не об одном, а о нескольких.

Начинается папка с паспорта Марии, а заканчивается паспортом Елены. Это вроде как пролог и эпилог. Обе его жены скончались, и их документы разорваны надвое.

В промежутке — его нынешняя жизнь. Прямо-таки видишь, как он мечется между оркестром и женой. Это вам не то же, что выбирать между музыкой и живописью. Тут не две возможности, а необходимая и совершенная невозможность.

Матюшин просит у начальства отпуск на десять месяцев, а значит, все еще надеется. В то же время сомневается. Иначе он бы не писал о «крайне обострившейся болезни» и «настоятельности быстрого отъезда».

«Его высокопревосходительству гос-ну Старшему Капельмейстеру придвор. орк. Гуго Ивановичу Варлиху.

Ввиду крайне обострившейся болезни жены моей и настоятельности быстрого отъезда из С. Петерб., предписанного врачом г-ом. Брунсом и г-ном Штернбергом и удостоверенном нашим врачом г-ном Булавиным; покорнейше прошу Вас, г-н Капельмейстер, исходатайствовать перед его Превосходительством Начальником оркестра необходимый мне, для сопровождения моей жены и пребывания с ней, десяти-месячный отпуск от самого ближайшего срока.

5 апр. 1913

С истинным почтением

арт. пр. орк. Мих. Вас. Матюшин»

На другой стороне листа это комментирует доктор М. Булавинцев. Да, подтверждает он, все так. Может, даже хуже, чем думает муж.

«Честь имею донести Вашему превосходительству, что жена артиста Матюшина больна злокачественной формой малокровия и быстро прогрессирующей ввиду тяжелого положения необходимо пребывание за городом на свежем воздухе и усиленное лечение и питание общее состояние настолько тяжелое, что за ней требуется усиленный внимательный и постоянный уход».

Доктор пишет одно, а думает о другом. Уж очень ему хочется продлить жизнь пациентки. Поэтому вопреки печальному итогу фраза продолжается. Не считается с тем, сколько раз следовало поставить точку.

Одно дело надежды, а другое обязанности. Доктор сделает все, что в его силах, а если не выйдет, подготовит родственников к ее уходу. Об этом говорит заключение. О «лечении» в нем написано раз, а «усиленный» повторено дважды. Это значит, что микстуры важны, но поможет только покой.

Гуро Варлих все так и понял. Все же у него музыкальный слух, а слух — это чутье. Прибавьте сердечность, без которой не сыграешь Рахманинова и Скрябина.

Концертмейстер не пропустил просьбы о девяти месяцах. Какие такие сроки при этом диагнозе! Посомневавшись, он опять доверился слуху. Подумал, что это не в его власти. У него нет возражений, а уж как оно будет, решать не ему.

Когда Гуро вскоре умерла, стало ясно, что еще хотел сказать доктор. Он понимал, что это не отъезд, а побег. Пациентка и ее муж хотели выйти из круга сочувствующих и остаться наедине с неизбежным.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Гуро умирает

Для музыканта нет пространства, а есть только время. Зато живописцу безразлично место действия. Даже если речь о портрете. Человека на первом плане он должен соотносить с фоном.

В данном случае музыканту помогал художник. Первый не думал об обстановке, а второй все замечал. Не пропустил закрытых штор и теней по стенам... В комнате Елены весь день сумрачно. Может показаться, что время остановилось.

Год назад Гуро тоже приезжала в Усукиркко. В это время начались ее приступы, и она слегла. Матюшин раздвинул шторы на веранде, и из окон хлынул свет. Он был такой силы, что в нем растворились лицо и подушка.

Вспоминал ли Бенедикт Лившиц эту картину, когда описывал «излучавшуюся на все окружающее, умиротворенную прозрачность человека, уже сведшего счеты с жизнью»? Как бы то ни было, все это тут есть. Елена уходит туда, откуда идет свет. Не только она, но и комната им пронизаны — все темное рядом с ней так истончилось, что чуть ли не засияло.

После того как мы увидели ее на этом холсте, попробуем понять, что она чувствовала. Конечно, близкие о многом догадывались, но больше всего было известно дневнику.

Как мы знаем, проза Гуро говорит о мгновениях. Случится что-то ее задевающее, и она сразу достает тетрадь... Сейчас рассказывать было не о чем. Все повторилось, начиная приступами и заканчивая процедурами.

Когда в настоящем удивляться нечему, обращаешься к прошлому. Правда, болезнь и тут вмешивается. Пишешь про «рай любви и таланта», а буквы подпрыгивают на линии строки. Напоминают, что все хорошее было когда-то и уже не повторится.

Чтобы писать внятно, нужны силы, а у нее их все меньше. Прежде впечатлений было сколько угодно, а теперь остались только стены и потолок. Как на экране, на них возникают разные картины.

Все замечать — ее обязанность литератора. Так поневоле мы стали свидетелями. Вот Елена ощутила себя полой емкостью, заполненной ужасом до краев. Или червяком — скользким, корчащимся под ботинком. Представив это, она написала: «Раздавленная, я ползла».

Чем хуже она себя чувствует, тем больше тумана. «Мне хотелось кровопролития, чтобы под трупами спасти своих людей (своих единомышленников)». Неужто это об утраченных смыслах? Слова тут потеряли значение, а значит, пали в этой битве.

Тем удивительней появление света (уж не начал ли действовать морфий?) в соседней записи. Пространство расширилось, и она увидела не готовый опуститься ботинок, а огромное небо.

«Я уходила все дальше в пустое поле под нависшими тюремными мыслями... — писала она. — Это абстрактная сторона одиночества, до чего я дойду... подумала я и отчаянно напрягла мысли... Звала людей, звала товарищей, чтобы не быть одной. „Я верю в вас“, — кричала я мыслями, которые соединяют народы, чтобы не быть одной».

На последней фразе боль вернулась, и слова опять попадались не те. Добавляешь обезболивающего, и в воображении возникает пейзаж: «Кругом, в голубоватом старом поле стоял дождь. Во всю сторону перевалом уклонами ширилось поле».

Так мы движемся от одной записи к другой, от острой боли к короткому просветлению. Откуда-то выплывают «чашки... китайской синьки, кофейник друзей и ананас радости». В эту триединую формулу счастья вписываются «состояние созерцания, белая дача, август». Завершают эту картину «золотистые белокурые волосики, по которым ласково проводит солнце».

Запись называется не «Диагноз», не «Близкий конец», а «Творчество». Ведь только работа может ее спасти. Кажется, сейчас их двое — первая очень больна, а вторая смотрит на себя со стороны и пытается описать.

Последней умирает не надежда, а способность к созиданию. Гуро видит, как опухоль переходит все границы и хозяйничает в доме. «Уже половинки со стульев, шкафа, стола съедены изжелта-мутным же. Уже половина головы отпадает...» В финале она не выдерживает и едва не кричит: «Сжался, сжался над жалким! Болит у меня мое — и не виновато оно в том, что было: если виновата, то я».

Словом, существуют «я» и «мое». Почему тело должно отвечать за сознание? Если наказывать, то не плоть, а дух. По крайней мере, не придется так мучиться.

В апреле плоть совсем сдалась, но дух еще держался. Елена опять попросила поднять шторы. Как год назад, когда муж нарисовал ее лежащей в постели, наступила весна, и из окон шел свет.

Елена умирала, но продолжала сочинять. «Ручеек прозрачный из-под ворот по красным и синим мостовинам бежал, — писала она, — и было видно сразу, что камни мостовой были невинны от городских грехов. А над воротами прозрачней юного ручейка чирикала птичка».

Вот что навсегда. Поле с дождем — и живой комочек, призывающий к чистоте и независимости. Ее не станет, но дождь будет идти, а птичка петь.

Когда Матюшин это читал, рядом с некоторыми записями он пометил: «дневник из ран». Значит, раны — это не только кровь и боль, но это чирикание. Его можно слышать в тех фразах, в которых перекликаются: «ейк»-«чир»-«птич».

Последняя запись помечена двенадцатым апреля. Только домашние знали, что происходило в оставшиеся ей полторы недели.

К домашним присоединим кота Бота. Как рассказала Громозова, он понял, что происходит что-то непоправимое, и почти не вылезал из-под шкафа.

Интересно, почему его так называли? Бот — небольшое парусное судно, а *botte* по-французски — сапог. Возможно, тут оба значения. Передвигался кот быстро, как парусник, а растянувшись на полу, длиной и чернотой не уступал голенищу.

Еще раз оценим способность Елены отражаться. Судя по фото, сделанные ею куклы в эти дни прятались в тени. С куклами были солидарны фарфоровые собачки на тумбочке. Они и прежде грустили, а сейчас на их мордочках прочитывался страх.

Это я отвлекал вас от главного. Не хочется говорить об этом, но придется. Обычно Матюшин старался в быт не погружаться, но тут ничего не пропустил. «Усиленный, внимательный и постоянный уход», прописанный доктором, не исключал и последней заботы. Елена умерла у него на руках.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В опустевшей квартире

Больше всего Матюшина угнетали подробности. Как освободиться от взбиваемых подушек и дурнопахнущих лекарств? Еще его мучил ее дневник. Он открывался на тех страницах, которые пока лучше не перечитывать.

Трудно Михаилу Васильевичу. На этой кровати, почти не вставая, она провела последние месяцы... А эти фарфоровые собачки еще не сняли траура... Не правильной ли послушаться кота Бота и в ее комнату не заходить?

Следует вернуться в оркестр, но пока Матюшин не пришел в себя. Может, ему помогут новые виды и разговоры на непонятном языке? Если ты устал от слишком знакомого, надо лечиться чем-то совсем чужим.

Он снова пишет заявление, и опять выходит что-то вроде письма. Зачем жаловаться на усталость, если много месяцев ты не был на службе? По крайней мере, в канцелярии к этому относились именно так.

«Ввиду постигшего меня большого горя, потери близкого друга и жены, я чувствую себя настолько физически и духовно разбитым и угнетенным, что покорнейшее прошу Вас, г-н Капельмейстер, исходатайствовать мне перед его Превосходительством начальником военного, так как в настоящем моем состоянии я ни на что решительно активное не способен и чувствую страшную усталость.

...1913. Мая 3-го».

Такую задачку задал Михаил Васильевич. Чтобы определиться с ответом, понадобилось четыре резолюции. Трое сомневались, а последний высказался уверенно.

В том, что четвертый писал карандашом, было что-то неформальное. Все равно что стукнуть кулаком и сказать: а кто не устал? Я бы тоже поехал в отпуск, но не могу бросить оркестр.

Оставался единственный вариант. Пойти в обход, или, говоря иначе, к врачам. Если заручиться нужным диагнозом, этот вопрос будет решен.

Булавинцев писал на заявлении пациента, а у доктора Купчика был собственный бланк. В правом верхнем углу значилось: «Министерство двора» и «Врач при-

дворной капеллы». Этот шрифт украшает бумаги начальника оркестра и даже самого императора.

Так доктор подчеркивал, что он — первое лицо. Как с упомянутыми высокими чинами, с ним лучше не спорить. Если он придет к какому-то выводу, это будет вердикт.

«Ввиду крайне обострившегося общего болезненного моего состояния, — обращался Матюшин в канцелярию, — плохое сердце, болезнь почек, сильный катар желудка и общее тяжелое ухудшение душевного состояния вследствие недавней утраты, по заключению врачей, меня лечивших, а также и нашего придворного врача Николая Ивановича Купчика; требуется неотложная поездка за границу, так как промедление может серьезно ухудшить состояние моего здоровья. Я покорнейше прошу Вас, г-н Капельмейстер, исходатайствовать перед Его Превосходительством г-ном начальником Придворного оркестра мне столь необходимый отпуск за границу сроком на два месяца...»

Заключение Купчика похоже на то, что писал Матюшин, но с уточнениями. Имеет место нервное расстройство, осложненное «хроническим воспалением почек и перенапряжением мышцы сердца», что позволяет сделать вывод: «Крайне нуждается в основательном лечении при полном моральном и физическом покое, в отъезде за границу в один из санаториев Германии».

На иерархической лестнице каждый считает себя первым. На самом деле это лестница в небо. Поднимаешься на ступеньку и получаешь право оказаться на следующей. Мнение доктора важно, но только для того, чтобы двинуться дальше.

«Прилагая при сем докладную записку его Сиятельства доктора Купчика, — написано на оборотной стороне листа, — честь имею ходатайствовать перед Вашим Превосходительством о разрешении ему заграничного отпуска по лечению болезни».

Сперва мы обманулись шрифтом, а теперь доверились роскошным усам начальника оркестра. Они тоже говорили об особых возможностях. Тут выясняется, что он сам ничего не решает, а может только обратиться в следующую инстанцию.

«Артист вверенного мне оркестра Михаил Матюшин, — пишет Штакельберг, — просит об увольнении его в отпуск за границу сроком на 1 месяц и 28 дней. Донося о сем Вашему Сиятельству, испрашиваю прошение на увольнение помянутого артиста в просимый отпуск».

Это последний документ, связанный с просьбой об отпуске. Сложно сказать, что было после. Если даже отпуск разрешили, Матюшин остался в городе. Может, ему стало ясно, что на поездку нужны силы, а они у него кончились.

К тому же Михаил Васильевич нашел другой выход. Теперь он общался с Еленой с помощью спиритических сеансов. Вряд ли санаторий мог ему в этом помочь. Надо, чтобы все знали ту, кого вызывают, и она тех, кто хочет с ней пообщаться.

Приятельница назвала Елену человеком «очень оккультного склада». То же можно сказать о Матюшине. Да и как могло быть иначе? Тот, кто верит в четвертое измерение, непременно захочет вступить с ним в контакт.

Медиумом он сделал Громозову. Для него было важно, что Елена говорит через нее. Твердый голос Ольги в эти минуты становился мягче. Словно от масляных красок она переходила на акварель.

На Матюшина сеансы действовали успокаивающе. Называешь Елену, а она тут как тут. Словом или фразой поддерживает собравшихся. Вскоре он отказался от крутящейся тарелки и присутствия посторонних. Достаточно было остаться одному, и они уже разговаривали.

Происходило это примерно так: «Вчера 24 августа ясно почувствовал Елену около себя... — рассказывает запись тринадцатого года. — Я совершенно ясно ее ощущал

у себя на плече. Она была очень весела и довольна и давала на все ясные ответы. Опять она говорила, что мы с ней вместе будем много работать, и это так было весело. Затем на овраге она меня повела за руку, и я, повинувшись ей, точно слепой, закружился и остановился около очень молоденькой, очень маленькой прелестной елочки, такой трогательной своей ребяческой нежностью и ясностью».

Кажется, Матюшин совершенно спокоен. Если есть четвертое измерение, эти контакты в порядке вещей. Как всегда, его удивляет только Гуро. В очередной раз она его куда-то вела, а он ей подчинялся.

Благодаря этим разговорам, кружениям и остановкам Михаил Васильевич приходил в себя. Без немецкого санатория голос стал тверже, а зрение четче. После того как она сказала: «Мы... вместе», он опять стал рисовать.

Так воскресают. Медленно, но неуклонно. Только что он не хотел никого видеть, а вдруг его потянуло к друзьям. Как вы там, Казимир и Алексей? Не хотите ли поучаствовать в моем возвращении к жизни?

Выезд на природу получил название первого съезда боячей будущего. Провести его решили в Уусикиркко. В зависимости от места — дача, поле или озеро — каждому предстояло стать докладчиком, президиумом и залом.

Конечно, Уусикиркко. Где еще? Здесь близость Гуро ощущалась особенно — 24 августа, когда Матюшин «ясно почувствовал Елену», не меньше, чем 18, 19 и 20 июля, когда состоялся съезд.

Съезд

Из участников нашей истории цельность отличала только Гуро. С остальными было по-разному. Если Ольгу это не волновало, то Матюшин свою раздвоенность преодолел. О том, что он думал на этот счет, говорил автопортрет.

О сходстве нет речи — работа изображает не человека, а призму. Так он понимал художника и конкретно себя: каждая сторона противостоит другой, а все вместе образуют единство. Это, конечно, больше мечта. В реальности грани конфликтовали. Как уже сказано, самым трудным был выбор между работой в оркестре и свободным творчеством.

Когда Матюшин оказывался вне строгих служебных рамок, он мог позволить себе все что угодно. Вот так, как на фото, где он снялся вместе с Малевичем и Крученых. Получилось что-то вроде картины или, как сказали бы сегодня, инсталляции.

Известен вкус питерских ателье. На рисованном заднике — колонна, полка с книгами, занавес. Все говорит о необходимости тянуть спину и смотреть прямо перед собой. Как видно, эту обстановку выбрали для того, чтобы над нею весело посмеяться.

Малевич и Матюшин сидят, а между ними прилег Крученых. Один держит его ноги, другой голову. Посредине — перевернутый стул. Он вроде как укрепляет положение автора «дыр бул щыла».

Рука Казимира Севериновича лежит на ноге Крученых. Его лицо при этом настолько серьезно, словно он произносит: «Отказать!» — или клянется в верности императору.

У Матюшина своя игра. Он оберегает товарища от падения — и сердечно его обнимает. Крученых чувствует симпатию и из этой неудобной позиции по-пушкински выкидывает руку вперед.

Все это похоже на провокацию, «сапоги всмятку» и «мир с конца». Съезд вышел таким же шутейным, как фото. При этом продуктивным. Между купаниями и походами за грибами задумали оперу «Победа над солнцем».

Начали не откладывая. На все про все ушло не больше месяца. Сложность оказалась только одна. Действующих лиц было столько, что пришлось на помощь призвать поклонников.

Вот и повод для Громозовой показать себя. Впрочем, как это сделаешь, если актеров закрывают фигуры из картона? Так что от тебя остается только голос. От имени героя ты должен прокричать что-то малопонятное.

Не везло Ольге. Никак у нее не получалось выйти на первый план. Сейчас прав у нее еще меньше, чем у машинистки. Тогда она высказывала свое мнение, а сейчас приходится говорить чужими словами.

Вот почему собой она была не очень довольна. Зато все остальное ее впечатляло. Шум, волнение, невероятные гости... Пришел подвыпивший Блок. Видно, он подготовился. Решил отклоняться от реальности вместе со спектаклем.

Об этой премьере в шестидесятые годы рассказала Екатерина Гуро. Перед ней стояла чудо-машина «Яуза-5», бобины крутились, пленка шелестела... Все это было так удивительно, что ей никак не удавалось сосредоточиться.

Времена путались, и Екатерине Генриховне показалось, что спектакль она смотрела вместе с Еленой. Ясно представилось, как они выходят из театра «Луна-парк» на Офицерской улице, а сестра говорит: «Тебе не кажется, что мы парим?»

К концу тринадцатого года Елены уже пять месяцев не было на свете, но эту фразу она вполне могла сказать. Странно поклоннице четвертого измерения перемещаться только по земле. Тем более что в фантазиях, как уже сказано, она чувствовала себя уверенней, чем в обычной жизни.

«Потихоньку кто-то идет в воздухе и любит все живое... Мимо всех вещей, сквозь все вещи, идет, не замечаемый никем. И никто его не видит и не знает о нем. Пробирается во все живое, как тепло весны и благословение».

В этом отрывке она вся. С одной стороны, немислимое («кто-то идет в воздухе»), а с другой — привычное («тепло весны»). То она выпадает из привычных связей, то вновь возвращается обратно.

Такое мерцающее существование. Вот и после смерти Елена попеременно отсутствовала и присутствовала. То вычиталась из числа ее товарищей, то опять была с ними. Об этом говорит название книги «Трое», которую участники съезда посвятили ее памяти.

Эта цифра тоже мерцает. Если эти трое Матюшин, Крученых и Малевич, почему нет Хлебникова и Гуро? Если речь о Гуро, Хлебникове и Крученых, где Матюшин и Малевич?

Может, это и есть то, что называется двоимирием? В Уусикиркко это остро ощущалось. Особенно тогда, когда Матюшин с Малевичем приходили на кладбище, а затем шли назад.

Возможно, из этих разговоров — близко и далеко от Гуро — возник малевичевский портрет Матюшина тринадцатого года. Это портрет не больше, чем упомянутая призма — автопортрет. Тут нет знакомых усов, улыбки и трости. Есть что-то вроде клавиш, галстука и пуговицы, но, скорее всего, сходство случайно.

Мы помним, что Михаил Васильевич отмерял время шоками. Казалось бы, шок — это что-то вроде взрыва. Все летит в разные стороны и никогда не станет целым. У него выходило наоборот. Он верил во взрыв животворящий, соединяющий распавшееся воедино.

Все это Малевич показывал на примере. Предположим, существует разнонаправленное движение. В реальности было бы не избежать катастрофы, но сейчас все закончилось счастливо. На свет появилась одна из самых гармоничных его работ.

В этой картине тоже есть мерцание. Хрупкость — и неокончателность, сила — и цельность. Из хаоса рождается единство, при этом хаос никуда не уходит. Так чувствовал себя Матюшин в тринадцатом году. Только что он потерял жену, впал в отчаяние, но все же решил жить дальше.

И еще через месяц

Почти каждый день Матюшин беседует с Гуро. В какой-то момент он понял, что им надо отдохнуть друг от друга. Уж очень бурные выходили беседы. Для людей, расставшихся навсегда, это все-таки чересчур.

Значит, придется сменить обстановку. Если не случилась Германия, можно переехать в соседний дом. Тут хотя бы есть то, что Малевич называл «прибавочным элементом». Номер квартиры тоже двенадцать, да и вид из окна напоминает прежний. Только ракурс немного другой.

Тут жила Екатерина Гуро с семьей. Так что и в этом смысле ниточка не рвалась, а тянулась дальше.

Новым должно было стать ощущение независимости. Словно он находится не внутри прошлого, а видит его со стороны.

Об одной причине не скажешь вслух. Если Елена его не совсем покинула, то ей, должно быть, многое непонятно. Для чего, к примеру, к нему зачастила Ольга? Она не станет ему выговаривать, но ее молчание выразительней слов.

После обмена поводов для подозрений не будет. Впрочем, пока это только мечты. Чтобы их осуществить, нужно согласие инстанции столь же твердолобой, как канцелярия оркестра.

С 1904 года несколько домов по Песочной принадлежали Литературному фонду. Сейчас связи с литературой истончились до неразличимости, но у фонда остались кое-какие права. Здесь по-прежнему решали, кому где жить и какую площадь занимать.

К этому времени Матюшин был уже известным художником, но для фонда оставался «отставным музыкантом». Подпишись он иначе, от него бы потребовали это подтвердить. Предоставить что-то более весомое, чем картины.

Срочность переезда Михаил Васильевич объяснял тем, что ему трудно оплачивать большую квартиру. К тому же он хочет помочь сестре жены избавиться от соседа. Уж лучше слушать его скрипку, чем вопли пьяного мастерового.

О главной причине Матюшин не заикнулся. Вряд ли его поймут, если он скажет, что меняется потому, что хочет увеличить дистанцию.

Литфонд вроде согласился, а потом засомневался. Странно менять шило на мыло, двенадцать на двенадцать. Да и какая разница, кому мешает сосед? Возможно, на новом месте он разойдется еще больше.

Сосед тоже не давал согласия. Видно, он не представлял жизни без семейства Гуро. Пришлось постучаться в соседнюю дверь. Здесь квартировала целая артель плотников. Существовали они в такой тесноте, что долго уговаривать не пришлось.

Представьте молодых, полных сил, ребят. Все в их руках спорится. Возвести дом им так же просто, как сколотить скамейку. Понятно, что их не тревожила тень Гуро. Да и тарелки были для них не средством связи, а предметами быта.

После переезда Матюшин вновь рисовал, ходил на выставки, встречался с разными людьми. Хотя бы с той же Ольгой. Прежде Елена постоянно была рядом, а теперь появлялась редко. Смотрела издали на мужа и подругу и думала: а почему нет?

Первое появление Бонча

За время, прошедшее с начала истории, Громозова успела не раз измениться. Теперь она не мечтала о громе и молниях. Для чего эта иллюминация, когда есть тихие радости?

Вот такое знакомство — разве не приобретение? Как-то в книжную лавку заглянул симпатичный человек. Вообще-то, несимпатичные редко покупают книги, поэтому удивляться тут нечему. Станным было то, что новый знакомый не пропал, а остался в ее жизни. Даже пару раз пытался ее направлять.

Его фамилия была Бонч-Бруевич. Ей понравилось то, что он зажигался от каждой новинки. При этом в книге ему было важно все. Не только автор и тема, но плотность бумаги и ширина корешка.

С этих пор интерес был взаимным. Не в том смысле, о котором вы подумали, а в куда более долгосрочном.

В шестом году Бонч создал издательство «Вперед» и присматривал сотрудников. Кроме того, что Громозова понимала в книгах, у нее было еще одно преимущество. Многие авторы тоже сидели в тюрьмах, а это сближает, как ничто другое.

Издательство разгромила полиция. Потом три года пришлось собираться с силами. Наконец Бонч предпринял вторую попытку.

Название «Вперед» говорило о продвижении и завоевании, а «Жизнь и знание» — о карандаше в руке и круге горящей лампы. Раньше читателя звали сражаться, а теперь останавливали. Благо есть что почитать.

В тринадцатом году было много разных событий, а тут еще это предложение. В последнюю поездку в Уусикиркко Ольга взяла недавно изданную ими книгу. Вот, мол, что мы издаем! Это тебе не цветы-птички-травинки, а настоящая жизнь.

Прежде всего Громозова занималась распространением. Тут ей пригодился опыт контроля за явками. Чтобы книги уходили куда надо, следовало помнить множество адресов.

Все происходило параллельно. К примеру, вечером Ольга играет в «Победе над солнцем», а с утра у нее другие проблемы. Она думает о том, чтобы книги не затерялись, а, подобно стреле, попадали в цель.

Оказалось, в ее жизни есть место и для личного. Тут тоже наметились перемены. Пока это секрет, но самые бдительные соседи уже перешептываются. Одна говорит: «Ты знаешь...», а другая отвечает: «Не может быть!»

Не очень понятно, как это началось. Помните, Гуро назвала ее «пушковатый скромный луч — Олли»? Луч всегда появляется незаметно. Только что его не было, а вот он есть.

Елена написала, что Ольга-Олли «выскользнула на балкончик, видна стала на рыжей двери». Сейчас тоже не обошлось без двери и балкона. «Из квартиры Матюшина, — пишет Громозова, — можно было по балкону пройти в Катину. Часто, особенно по вечерам, я слушала оттуда, как печально пела его скрипка... Как-то... я была дома одна. Стояла в Катиной комнате, прислонившись к балконной двери». Как видите, она чувствует себя здесь как дома. Впрочем, еще немного, и это действительно будет ее дом.

Через страницу-другую в ее рассказе появляется «мы». Эта едва заметная частица свидетельствует о том, что ситуация вновь изменилась. Начинается их совместная жизнь.

Громозова отмечает, что это пятнадцатый год. «Тихая шла весна... Тепло, солнечно. Деревья будто мечтательно подняли свои головы». Слышите здесь голос Гуро? Рассказывая о том, как она заняла место подруги, Ольга заимствует ее интонацию.

Обычно влюбленные невнимательны. Кажется, Михаил Васильевич совсем ослеп, если не взгляделся в фото тринадцатого года, запечатлевшее их с Ольгой на могиле Гуро.

Вот он, момент истины, соединения в одном чувстве, но почему-то каждый сам по себе. Взгляд Матюшина странно блуждает. Хоть он и рядом с Громозовой, но больше там, куда ушла Елена. Зато она точно здесь. Ее губы сжаты, а на лице написана обида.

Вот оно как! Кладбище примиряет с жизнью и смертью, а тут чуть ли не семейная сцена! Особенно это странно для людей, уверенных в том, что Елена видит все.

Этот любовный треугольник похож на нерешаемую «квadrатуру круга». Впрочем, Ольга еще не освоилась в своей роли. Вскоре ей удастся вписаться во что угодно — хоть в круг, хоть в квадрат.

Уже через год Громозова это продемонстрировала. Стала частью живописной композиции. Получилось это у нее так легко, словно она вошла не в картину, а в дверь.

У Ольги немного таких удач. Даже через тысячу лет ее будут помнить за то, что она позировала для этой картины. Вот же ее глаза, прическа, абрис лица. Взгляд недоверчив, как на упомянутом фото, но руки, придерживающие младенца, полны нежности.

Как Громозова была Девой Марией

В Русском музее сперва идешь к «Семье плотника». Как вы там, петух, лошадь, собака, Дева Мария, младенец? Ну и, конечно, Иосиф. Он поднял обе руки, то ли защищая мать и ребенка, то ли вознося благодарность за то, что они есть.

Так вот Марию Филонов писал с Ольги. Это не первое ее участие в чужом творчестве. Ей доверялся Хлебников, чьи тексты она получала, что называется, горячими. Читатель еще ничего не знал, а она уже приобщила и даже высказала свое мнение.

Впрочем, такого у нее не было. Ее бы меньше смутило, если бы Филонов писал с нее собаку или лошадь, но он настоял на фигуре с младенцем. Казалось бы, откуда это в ней, нерожавшей? Неужто художник догадался о том, в чем бы она никогда не призналась?

Влюбленный видит не то, что есть, а то, что может быть. Особенно если любовь безответна. В общем-то, ничего и не было. Сперва он ее ждал, а потом они недолго гуляли. Вместо того чтобы отдохнуть после работы, Ольга должна была поддерживать разговор.

Даже после его смерти она ему это припоминала. Представляла, как его фигура отделяется от стены. Он, видите ли, закончил картину и теперь хочет отвлечься.

«По вечерам он... поджидал меня на набережной Фонтанки, — писала она в своей „Песне о жизни“, — и я, несмотря на усталость, шла домой пешком, а не ехала на конке».

Большая часть фразы говорит о ее удивлении. Особое раздражение слышится в словах «несмотря на усталость» и «пешком». Прошли годы, а она по-прежнему злилась на то, как не вовремя он появлялся.

В сорок шестом, когда это было опубликовано, имя Филонова не произносилось. Поэтому в ее книге он назван Художником. Выходит, Громозова выясняет отношения непонятно с кем. При этом не упоминает о том, как позировала для его картины.

Можно было не уточнять, что это одно из самых прекрасных полотен в мировой живописи. Главное было сказать, что все это она часто видела во сне. Сколько раз ей представлялось, что ее сын стал богом. По крайней мере, для нее он точно был бы бог.

Вот что объединяло Елену и Ольгу. Обе мечтали о наследнике и обе признались в этой тайне. Одна придумала своего Вильгельма. За другую это сделал художник, написавший «Святое семейство».

Так выглядит греза. Руки то ли приближаются, то ли удаляются. Расстояние между Марией и ее сыном никогда не будет преодолено. Возможно, эта дистанция говорит и о них с Ольгой. Не только о том, как это началось, но и том, чем закончилось.

Однажды Громозова сказала Филонову, что выходит за Матюшина, и попросила не приходить. Конечно, это было сказано впрок. Что-то такое уже мерещилось, но о свадьбе речи не было. Пока они разговаривали, потом прощались и встречались на другой день.

Ольга не художница, но почему бы ей не пофантазировать? Филонов представил ее Девой Марией, а она себя женой Матюшина. Пусть они не поженились, но она так чувствует. Для чего тут церемонии и бумаги?

Его фантазии и ее выдумки говорят о более или менее спокойном времени. Начавшаяся 1 августа 1914 года война все изменила. Уже никто ничего не планировал. Ко всему примешивался неприятный привкус. Идешь на выставку и думаешь: кого из художников призвали? Если все так пойдет, то некому будет рисовать.

Филонов ждал мобилизации, но на фронт попал только осенью шестнадцатого года. До этого нарисовал самые страшные из своих картин. На одной из них — «Германская война» — представил что-то вроде человеческого месива. Соединил принадлежащие разным людям лица, ноги и руки.

Громозова и Матюшин старались этого не замечать. На Песочной (уже в доме 12, а не 10) по-прежнему обсуждали «расширенное смотрение». Даже находили этому оправдание. Не без пафоса говорили, что тому, кто занял сторону искусства, опасаться нечего. Тем больше они удивились, когда война буквально вошла в их дом.

Все началось со звонка в дверь. Они не почувствовали опасности и сразу открыли. Нежданный гость интересовался Николаем Матюшиным, 1895 года рождения. Ах, он пока учится? Пусть не очень усердствует. Скоро ему идти на фронт.

Михаил Васильевич растерялся, но Мария быстро привела его в чувство. Уж как она не любила просить бывшего мужа, но тут взмолилась: прошу, помоги!

Отец и его дети

Хотя это сильно меняет картину, но иначе ничего не понять. Матюшин почти не пересекался со своими детьми. Они выросли и искали себя вдалеке от него.

В архиве нет следов общения с ними. Хотя бы одно поздравление с днем рождения! Ученики шлют открытки ко всем праздникам, а они внимания не проявляют. Да и его блокноты показательны. Что только он не рисовал по ходу жизни, но сына и трех дочек в них нет.

Прочитать по этому поводу нечего, но догадаться несложно. После того как Михаил Васильевич ушел из семьи, он стал им неинтересен. Даже искусство для них перестало существовать. Если отец рисует и играет на скрипке, они займутся чем-то другим.

Все же совсем без Матюшина нельзя. Больно неженские вопросы приходится решать Марии Ивановне. Больше всего она не любит ходить по инстанциям, а у него по этой части есть немалый опыт.

Особенно много проблем было с Николаем. Пробовали разные варианты, но в конце концов его определили в приют. Это была капитуляция. Родители признавались в том, что без чужой помощи им его не воспитать.

Приют принца Ольденбургского был государством в государстве. В его уставе, своего рода конституции, говорилось, что заведение «имеет целью воспитание и образо-

вание детей обоого пола... без различия их происхождения, состояния и вероисповедания». Словом, дело не в отсутствии средств и не в присутствии родственников. Если тебе нужны помощь и поддержка, то тут тебя ждут.

Серебряный век — это не только «жизнетворчество». Кого в этом не заподозришь, так это Николая. Если он напоминал отца, то совсем раннего. Того, что в детстве дрался и пьянствовал.

Откуда это известно? В своем хозяйстве принц установил порядок. Это относится и к канцелярии. Обычно чиновники бумаги выбрасывают или теряют, а тут их подшивали в папки.

Первая дата в «деле» Николая² — одиннадцатый год, но от семьи он откололся раньше. Сперва была торговая школа при лютеранском храме Христа Спасителя. О том, как здесь учили, говорят отметки, полученные при поступлении в приют. По русскому, арифметике и закону Божьему у него стоит «два».

Понятно, что за этим должно последовать. Поверх строчки: «Может быть принят в... класс» — красными чернилами написано: «Отчислен».

Может, к юноше отнеслись необъективно? Чтобы сомнений не возникало, в «деле» вложен диктант. Все честно: «деревня» написано через «и», а в слово «рощицы» вторглась буква «т».

В тексте говорилось о том, что Матюшин и его вторая жена любили больше всего. Судя по отсутствию запятых, абитуриент природу не чувствовал. Поэтому части предложения, как описанные тут овцы, сбиваются вместе.

«Бродившие по дну долины овцы мелькали, как белые крапины, которые то сверкали на солнце, то исчезали в голубой тени, бросаемой облаками».

Это мы расставили знаки препинания, и картина оказалась в фокусе. Кажется, от нее идет свет: овцы, тени от облаков, причудливое сочетание прозрачного, белого и голубого.

Если ты этого не видишь, внесенные за учебу 155 рублей тебе не помогут. После этого можно было бы успокоиться, но Матюшин решил попробовать еще раз — обратился с просьбой зачислить на механико-техническое отделение «сына моего... выбывшего из ремесленного отделения».

Оказалось, тут действительно шансов больше. Прежде преобладали двойки, а сейчас тройки... С такими отметками он бы доплелся до выпускного, если бы не год рождения.

Сперва Николая определили «в присутствие по воинской повинности». Конечно, присутствие — не участие. Впрочем, очередь продвигалась быстро. Люди на фронте выбывали ранеными или убитыми, и их место занимали другие.

Когда речь о детях, самые прекрасодушные родители становятся хитрецами. Вот и Матюшин подал заявление «на получение казенного обеспечения». Расчет был на то, что государство соотносит действия правой и левой руки. Вряд ли оно заплатит за учебу Николая — и отправит его на войну.

Как говорят в театре, «та же игра». Одни пишут на заявлениях резолюции, другие комментарии. Среди последних оказался один равнодушный человек. Не каждый, отметив внесенную сумму, добавит от себя, что «успехи очень хорошие и поведение отличное».

Вряд ли «успехи» — это про русский и арифметику. Впрочем, даже если есть достижения в механике, какой от этого толк? Судьба Николая решалась не в классе или мастерской, а в бумажной плоскости. Особые надежды Матюшин связывал со Штакельбергом.

² Здесь и далее цитируются документы из папки «Личное дело воспитанника Матюшина Николая», хранящейся в Центральном историческом архиве Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб).

У бывшего начальника Михаила Васильевича были все основания ему отказать. Для этого необязательно встречаться. Секретарь объяснит, что с тех пор, как вы вышли на пенсию, у вас нет права нас о чем-то просить.

У Константина Карловича другая логика. Он считает себя отцом солдатам и старается не забывать о своих детях.

Штакельберг сразу написал куда следует. Ему отвечали чуть ли не с расшаркиваниями. Знаете эти бюрократические обороты? Фраза словно сгибается в поклоне. Если этого недостаточно, сгибается еще раз.

«Вследствие письма Вашего превосходительства, имею честь уведомить, что прошение относительно артиста придворного оркестра Матюшина о зачислении на казенный счет сына его Николая Матюшина... будет доложено Попечительскому совету в ближайшем его заседании, но едва ли можно надеяться на удовлетворение этого ходатайства, так как в принципе казенных и беспошлинных вакансий не имеется...»

Так и произошло. И доложили, и отказали. Сперва хотели использовать то, что у Николая болеет мать, но потом решили, что это вряд ли поможет. Убитых на фронте не считают, а тут все же столица. Всегда можно позвать врача.

Да болезнь развивалась стремительно. Пока оформляли бумаги, ждали ответа, стало ясно, что счет идет не на месяцы, а на недели.

Днем смерти матери — 5 ноября 1915 года — помечена вторая крайняя дата на «деле». Она стала не только отметиной в памяти, но цифрами на папке. Не сам ли Николай попросил ее поставить? Уж очень явно время разделилось на до и после.

Как видите, не так просты Матюшины. В их жизни достаточно символизма. Не случайны не только эти даты, но место захоронения Марии Ивановны.

Перед женитьбой Мария Патцак перешла в православие, а после смерти вернулась в религию родителей. Поэтому похоронили ее на далеком Выборгском католическом кладбище.

Остальные бумаги в папке связаны с необходимостью идти на фронт. О «присутствии по воинской повинности» уже говорилось. А это еще одно предупреждение. Тут уже прямо сказано: «Воспитанники 2 класса низшего механико-технического отделения... Матюшин Николай Михайлович... и Машуков Сергей Дмитриевич... подлежат досрочному призыву для отбывания воинской повинности с 15 мая сего года».

Как видно, в армию брали соответственно алфавиту. Наконец добрались до «Ма». Впрочем, приказ — не приговор. Вскоре приют ходатайствовал о «предоставлении... Матюшину и Машукову отсрочки для отбывания воинской повинности для окончания ими курса означенного отделения, каковой они, при переходе в 3 выпускной класс, должны окончить в мае 1916 года».

Ну а дальше никаких поблажек. После выпуска Николай отправился на фронт. Кто же мог знать, что после мировой сразу начнется Гражданская? Он воспользовался короткой передышкой между войнами и вернулся в Петроград.

Прежде учеба его не очень интересовала, а сейчас захотелось учиться. Несколько месяцев он уворачивался от пуль, и аудитория показала ему убежищем.

Возникли даже блажные мысли. Почему бы не пересдать двойку на тройку, а тройку (чем черт не шутит!) на четверку? Тут выяснилось, что приют закрывается. Новая власть не доверяла людям «без различия... происхождения, состояния и вероисповедания». Теперь только и делали, что разделяли. Одни допускались к строительству нового государства, а другим в этом отказывали.

Перестав быть столицей, Петроград растерял свой блеск. Прежде это был город дворцов, а сейчас здания отступили на второй план. В глаза бросалось запустение. Си-

туация жителей была еще хуже. Газеты призывали отказаться от домашнего питания. Во-первых, это революционно, а во-вторых, продуктов всем не хватало.

В приюте и армии жизнь Николая отражалась в бумагах, а сейчас он существовал как птица небесная. Хорошо до нас дошли кое-какие разговоры. Пусть они невесомей ветра, но все же следует к ним прислушаться.

Первая версия говорит о том, что Николай погиб в Петрограде. Что ж, дело обычное. Пули свободно гуляли на улицах. Ничего не стоило пойти в магазин и попасть в морг.

Кроме местного, был вариант удаленный. Якобы он добрался до Франции. Может, так обозначалось перемещение на тот свет? Все же другие уехавшие подавали знаки, а он как растворился.

Так продолжалось уже много лет. Вроде бы пора черной полосе стать светлой, но число потерь только увеличивалось. Началось это с болезни Гуро. В январе тринадцатого года умер Ционглинский, благодаря которому Матюшин познакомился с женой. В апреле проводили Елену. Дальше так и пошло. В четырнадцатом хоронили Крачковского, а в пятнадцатом Марию Ивановну.

Теперь исчез Николай. Михаил Васильевич пытался что-то выяснить, но что можно понять в городе, который уже не помнил себя столицей Серебряного века?

Самые страшные события произошли после смерти Матюшина. В тридцать седьмом году расстреляли мужа младшей дочери Марии, а ее отправили в лагерь. Начался мор не только для искусства авангарда, но и для его семьи.

До этого момента мы еще пройдем, а пока остановимся в районе конца десятих — начале двадцатых годов. Михаил Васильевич подводит черту под прошедшей жизнью в неожиданном жанре: он заполняет анкету поступающего на службу и дважды проговаривается.

Некоторые итоги

В каждой семье есть «скелеты в шкафу». За пределами своего круга об этом не говорят. Михаил Васильевич нарушил это правило и сам явился с повинной. Дал повод коллегам немного посудачить.

Существует ли пространство более публичное, чем анкета? Если что-то будут знать в отделе кадров, то не только для академии, но и для всех художников Петрограда это уже не будет секретом.

В мае девятнадцатого года Матюшин оформлялся в Академию художеств. В графе «семейное положение» он написал, что «от I-го брака, после развода, связь с женой и детьми порвалась и сведений не имею»³.

Справедливо ли так казнить себя? Как мы видели, Михаил Васильевич участвовал в судьбе сына. Что касается дочерей, то это было их решение. Так что тут виноваты все.

Если Матюшин смог честно признаться, что не общается с детьми, почему бы ему не сказать о Громозовой? Он решил, что правильнее промолчать, и написал: «вдовец».

Непростая жизнь у него была с Ольгой. По крайней мере, такой ясности, как когда-то с Еленой, тут точно не было. Они уже подумывали расстаться, но решимости не хватило обоим. Так они дожили до двадцать второго года, когда он сам заговорил о женитьбе.

Хочется эту часть закончить не на мрачной ноте. Попробуем вообразить церемонию бракосочетания. В прежней жизни они бы венчались, но сейчас церковью был загс.

³ Цитируется по «карточке-формуляру» М. В. Матюшина (май 1919), хранящемуся в Архиве Российской академии художеств (НА РАХ).

Особого воображения тут не нужно. Все происходило так, как это бывает всегда. Особа с зычным голосом заменяет священника. Еще есть свидетели. Они не держат венцы над головами, а перетаптываются невдалеке.

Скорее всего, его представлял кто-то из футуристов, а ее сотрудница издательства «Жизнь и знание», теперь переименованного в «Коммуниста». Эти двое привыкли находиться на первом плане, но сейчас у них была другая роль. Поэтому первый не красил нос серебрянкой, а вторая не агитировала за новую власть.

Казалось бы, можно забыть обиду. Вместе с тем Громозову не оставляла мысль, что Матюшин тянул столько лет. После его смерти она написала в автобиографии, что они поженились в шестнадцатом году, и тем самым восстановила справедливость.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОСЛЕ. 1938—1955

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Громозова примеривается

О том, как события развивались дальше, долго рассказывать. Ограничимся тем, что это была семейная жизнь. Нам с вами известно, что это такое. Постоянно что-то происходило в диапазоне от небольшой размолвки до удачного борща. Конечно, в жизни этой четы было много искусства — того, что творил он, и того, что создавали друзья.

Все же не будем отвлекаться от нашего сюжета. Постараемся объяснить, как так случилось, что Серебряный век стал Советской эпохой.

Сперва вспомним один портрет. Матюшинка Мария Эндер перед войной нарисовала Громозову. Каждая краска на этом листе отбрасывает тень. Например, желтый в волосах продолжен синим, а на щеке зеленым.

Мария следовала совету Матюшина использовать дополнительные цвета. Такой прием во многом объясняет Громозову. Становится ясно, что ее не свести к чему-то одному.

Чтобы не заслонять мужа, иногда Ольга Константиновна делала вид, что тут нет никакой сложности. Например, гости отмечали ее хозяйственность. В голодные годы она угощала их грибами, а в более благополучные пирогами.

Часто, оставшись одни, вдовы угасают, уходят в слезы и воспоминания, но сейчас вышло иначе. Если эти перемены выразить в цвете, то тут были не две краски, а четыре или пять.

Обычно дебютируют в двадцать лет, а ей было почти пятьдесят. В этом возрасте многие почивают на лаврах, а она начинала. Рисовала первую в жизни картину и писала первую повесть.

Конечно, для дебюта слишком поздно. Не только из-за того, что стоишь в очереди с молодыми, но и потому, что силы не те. Громозову это лишь раззадоривало. Было ясно, что это ее час, и она не должна его пропустить.

Как сказано: «Смешен и ветреный старик, / смешен и юноша степенный». Иначе говоря, всему свое время. В одной эпохе Ольга Константиновна существовала при муже и друзьях, а в другой заняла самостоятельные позиции.

У каждого поколения свои требования к начинающим. Прежде у нее бы не спрашивали, почему раньше она тяготела к футуристам, а сейчас ответа на этот вопрос было не избежать.

Ясно, что от нее хотели отречений, и Громозова ничуть не растерялась. Написала в автобиографии, что она интересовалась многими, но любила только Серова и Левитана.

«Живопись с детства притягивала меня, — писала она, — но мне даже в голову не приходило самой попробовать. Матюшин был художником. Могла наблюдать, как он пишет. Но Матюшин принадлежал к группе „левых“ художников. Это искусство мне не нравилось. Я любила пейзажи Левитана, картины Серова. Жизнь отвлекала меня от живописи. Я продолжала работать в издательстве. Время было горячее. Начиналась революция»⁴.

Странная, конечно, мотивировка. Значит, в том, что все случилось так поздно, виноваты муж и революция? Теперь, когда революция победила, а она осталась одна, ее давние планы осуществляются.

Пересказ ее мыслей вольный, но как это понять иначе? Тем более что дальше следует уточнение: «В 1934 году умер М. В. Матюшин. В 1938 году совершенно неожиданно у меня вспыхнула страсть к живописи». Хотя «после» не значит «вследствие», но все же странно, что эти события следуют одно за другим.

Лучше бы Ольга Константиновна это сказала вслух. От того, что напечатано на машинке, откреститься сложнее. На любом, в том числе и высшем, суде эти страницы будут считаться свидетельством.

Нечастное лицо

Возникает ассоциация с ролью. После того как актер получает текст от помощника режиссера, он уже себе не принадлежит.

Громозова должна была сыграть не Дездемону или Катерину. Роль советского писателя допускает варианты, но до определенной степени. Импровизации и отсебятины тут не поощряются.

В ее юности ценилась непохожесть, какая-нибудь дерзкая редиска в кармане, а сейчас все изменилось. Не только пишешь правильно, но ведешь себя соответственно. Хочешь не хочешь, изволь завести архив. Теперь бумаги не выбрасывались и не использовались как закладки в книге, а отправлялись в ящик письменного стола.

Да и возможности у нее сейчас были другие. При муже Громозова не удалялась от дома дальше, чем в Мартышкино, а тут ее пригласили в Москву. С тридцать восьмого по сороковой год она занималась оформлением Сельскохозяйственной выставки.

Конечно, это не просто так. Следовало отлучить от выставок бывших авангардистов. Слишком много их пришло в эту область. Кто-то даже исхитрился сохранить верность учителям. В декоре они использовали квадраты и треугольники, знаки принадлежности уничтоженной школе.

Громозова в этом смысле была человек надежный. Казалось бы, ей легко что-то позаимствовать у мужа, но она понимала, что сейчас это не нужно. Поэтому ее решения были не сложные, как у Лепорской или Бориса Эндера, а простые, как рисунки в стенгазете, одобренной директором школы.

Одновременно выходили книги. В те времена не было слова «амбидекстер», но это точно о ней. Правой рукой она рисовала, а левой писала. Был бы жив Матюшин, он бы сказал о третьей жене, как когда-то о второй. Мол, Ольге все равно выражать себя в прозе или через живопись.

Для разминки у нее не было времени. Пришлось опираться на то, что она поняла в бытность женой художника и работником издательства. Теперь ее советы другим следовало предъявить себе.

⁴ Здесь и далее цитируются документы, хранящиеся в фонде О. К. Матюшиной (Громозовой) в рукописном отделе Российской национальной библиотеки (РНБ).

Так появился не просто новый автор, но образцовый советский писатель. Нельзя не подивиться, насколько все у нее правильно. Хоть отправляй эти произведения на Выставку достижений народного хозяйства.

У нее был свой путь, но муж присутствовал в ее мыслях. Соревноваться с ним было невозможно, да и не ко времени, но некоторые его роли она примеряла.

Например, Матюшин был вперёдсмотрящим. Все, кто пошел за ним, стали мастерами. К тому же он создал издательство, и это расширило пространство поисков. А что если стать учителем и редактором? Воспитать учеников и позволить им показать себя?

У Громозовой другой масштаб, и это справедливо. Учителем с большой буквы она уже не станет, а учителем пожалуй. Да и ее подопечные не художники, а младшие школьники. На ее уроках они пробуют себя в письме, а на соседних изучают географию и арифметику.

На что может претендовать журнал, чья известность не выходит за пределы двадцать седьмой школы? Вместе с тем он претендует. Явно напрашивается аналогия с туристическими книгами.

В том и другом случае ценилась рукотворность. Рисовались не только картинки, но и тексты. В матюшинском издательстве тиражи крохотные, а у журнала их нет вообще. Единственные экземпляры запирались в учительской и выдавались по мере надобности.

На некоторых своих сочинениях Розанов писал: «На праве рукописи». Тут же не «на праве», а просто рукопись. Это было видно во всем. Что нашли в пределах досягаемости, то и использовали. Не посмотрели, что бумага разных сортов и форматов.

Есть еще одно совпадение. Тут уже почти мистика. В том возрасте, когда Громозова занялась творчеством, Матюшин начал делать что-то свое. Для них обоих это был поворотный момент. Жизнь разделилась на то, что было прежде, и то, что началось теперь.

Прежде чем перейти к тому, почему все так повернулось, надо выразить сочувствие. Понятно, что ее подтолкнуло писать и рисовать. По крайней мере, одна из причин была такая.

При муже гости в доме не переводились, а после его ухода стало совсем тихо. Следовало как-то заполнить эту тишину-пустоту. Так что занялась она этим не от полноты впечатлений, а от избытка одиночества.

Громозова и подрастающее поколение

После того как Громозова стала писательницей и художницей, она пошла в школу. Виноваты в этом были второклассницы Наташа и Галина Эндер. Их мама рассказала директору, что автор книг о революции хотела бы преподавать, и он согласился.

Кому еще вести факультатив по литературе, как не начинающему автору? Возраст у Громозовой близкий к пенсионному, а стаж небольшой. Свои первые тексты она написала ненамного раньше, чем ее воспитанники.

Наверное, правильно, что начинающий учит начинающих. В этом случае возникнет столь необходимая доверительная атмосфера.

У этого решения был и тайный мотив. Когда-то Филонов угадал в ней способность к материнству, и теперь это чувство она перенесла на несколько классов.

Главная задача матери — подготовить детей к будущему. Объяснить, какие опасности их ожидают и как их избежать. Она решила на примере журнала научить их уметь жить в коллективе.

Проиллюстрируем это так. Представьте детей на демонстрации. Одинаковые костюмчики, пионерские галстуки, светлые макушки... Когда они идут в колонне, каждый становится частью целого.

Теперь понимаете, почему журнал назван не «Школьник», а «Ребята»? Почему в текстах часто слышны обращения: «У меня есть просьба, ребята», «Ребята, вы сделали то, о чем мы говорили в прошлый раз?».

Если научиться совместному творчеству, потом получится совместная жизнь. Пока они вроде как тренируются. Стараются не удариться в ячество и не отвлекаться от главного.

Иногда выходит чересчур. Сложно представить, кто это писал. На детскую речь непохоже, да и взрослые так изъясняются только в газете.

«Журнал наш должен помочь ребятам жить крепким спаянным коллективом, хорошо учиться, развивать свои творческие способности, вырасти честными, правдивыми, мужественными гражданами великого Советского Союза, горячо любить свою социалистическую родину».

Насколько Громозова правила журнальные материалы? Судя по результату, контроль был строгий. Так работали с ней, и было бы странно, если бы она поступала по-другому.

Сейчас, да и всегда, Ольга Константиновна исходила из пословицы про журавля в небе и синицу в руке. Журавль — это нечто неуловимое, растворяющееся в дали. Что касается синицы, то ее будто создали по твоей ладони. Держи крепче, и она никуда не денется.

Громозова не только сама так относилась к воспитанникам, но пыталась этому научить. Объясняла, что понятное лучше туманного, уравновешенное — продиктованного эмоцией. Если следовать этим правилам, то вы точно не пропадете.

За свою жизнь она убедилась в преимуществе «синицы» над «журавлем». Друзья ее юности отменяли поэтические размеры и знаки препинания. Им хотелось преодолеть границы, и каков итог? Количество правил стало не меньше, а больше.

Футуристам уже не поможешь, а новое поколение хорошо бы предостеречь. Большинство ее учеников сделали так, как она просила. Кто-то, может, и хотел написать что-то особенное, но они поняли, что тогда у них не будет пятерки.

В любом самом хорошем коллективе есть кто-то несогласный. Иногда, как в этом случае, даже двое. Как ни старалась Ольга Константиновна, они вели себя так, как считали правильным.

Когда ученики стали грозить, что вызовут в школу родителей, Громозова смирилась. Тем более что мать Наташи и Гали была матюшинкой. Вот уж с кем ей не хотелось обсуждать что можно, а что нельзя.

Опять вспомним колонну на демонстрации. Конечно, это неправильно, но, согласитесь, такое случается. Вот и сейчас все идут в ногу, а двое-трое в ритм не попадают — то торопятся, то отстают.

Наташа, Галя и Кирилл

Начнем с Наташи и Гали. Как уже ясно, особенная семья. Каждому хотелось создать что-то необычное. Не очередную копию, а свой, непохожий, мир.

Настоящий художник не пытается подменить действительность. Старшие Эндеры пошли еще дальше. Они рисовали жизнь красок — их пересечения, союзы и противоборство.

Возможно, абстракция и есть чистая красота. Так восход или закат не нуждаются в конкретизации. Достаточно того, что воздух переливается. Насыщается разными оттенками.

Принадлежать к такой семье — что-то вроде обязательства. Невольно будешь писать не чужими, а своими словами. Да и все остальное будет свое. Не только свой сюжет, но свое пространство и время.

«Давно-давно жил карлик Золотик, — пишет Наташа Эндер. — Он был одет в красненький костюмчик и был очень маленький и злой. У него было много-премного красивых вещей и драгоценных камней, разных переливающихся ракушек, бриллиантов. Он их очень берег, чтобы его вещей никто не взял. А еще больше всего карлик дорожил своей злостью и карликовой важностью. Каждый день он добывал красивые вещи, чтобы еще больше и красивей стали его дворцы».

В этой сказке не только сочиненное. Кое-что взято из самой близкой жизни. Когда карлик стал добрым, он идет на елку. Здесь он встречает Наташину сестру Галю, Нину, еще Нину, Валю, Тамару. Какой без них счастливый финал?

Присутствует тут и «тетя Оля» — Ольга Громозова. Как всегда, она следит за порядком. Вот и сейчас ее участие гарантирует, что дети покажут себя самым лучшим образом.

Наташа — чуть ли не главный автор журнала. По основным предметам в школе она не старалась, а тут была в первых рядах. Пробовала себя в разных жанрах. Когда выбирали того, кто нарисует обложку, все согласились: раз в ее семье все художники, то и кисточки ей в руки!

На обложке первого номера дети собирают яблоки, а рядом стоит человек в длинном полом сюртуке. Может, это Пушкин? Недавно Эндеры вместе с футуристами сбрасывали его «с корабля современности», а их наследница утверждает, что поэт с нами везде. Даже пионерский почин без него не обходится.

Так Пушкин стал немного Сталиным. Лучшим другом пионеров. Еще, возможно, Наташе он напоминал Громозову. Девочка уже знает, что одни люди заняты делом, а другие говорят: хорошо бы так, а еще лучше — так!

Есть вещи поважней содержания. Наташа уже чувствует цвет. Правда, ошибается в количестве воды, и картинка расплывается. Зато синий и зеленый выбраны точно. Краски говорят о нежном и хрупком, а значит, о детском.

Теперь обсудим второго несогласного. Кирилл Городков не связан с искусством. Его родителей интересовала жизнь естественная. Так что его будущее просматривалось. Раз мать и отец изучают природу, он тоже должен ей послужить.

Независимости можно научиться, не только занимаясь творчеством, но, к примеру, изучая растения. Больно наглядно они тянутся вверх — и ничто не может им помешать.

Стихи Кирилла в журнале явно вторичные. Остается только угадать предшественников.

Уж не знал ли мальчик о хармсовских «Случаях»? Взрослые тексты обзериутов не печатались, но просачивались. Кто-то давал почитать машинопись, и вовлеченных становилось больше.

Есть объяснение и без питерских абсурдистов. Городковы любили гостей. Соберутся десяток интеллигентов — и начинается! Руководителей государства не вспоминают, но героев школьной программы почему не задеть?

Вот стихи о Ломоносове:

Ломоносов, ломонос! Ты стоишь, задравши нос,
Между колб, и склянок, банок,
И мензурок, и весов.
Ты стоишь здесь, Ломоносов,
Ты стоишь, задравши нос.

А это о композиторе Бородине. Здесь поза героя уже другая.

Бородин, ты Бородин,
Ты сидишь ведь здесь один.
Что же будет, если
Углемедной солью
Подействовать на борную кислоту.

В журнале ничего не знали ни о Хармсе, ни о семье мальчика и сочли это за юмор. Последние страницы многие издания отдадут смешному. Впрочем, рубрика не имеет значения. Куда важнее то, что этим детям почти ничто не казалось серьезным.

Возьмите Пушкина на сборе яблок. Поэт так же нелеп, как светоч науки со вздернутым носом. У светоча даже есть преимущество. Он хотя бы не претендует на участие буквально во всем.

Вот такие ребята. Думающие, острые на язык. Интересно, как сложилась их судьба? Досталось всем, но таким, как они, особенно. Думать и понимать их научили, а как одолеть испытания, не успели объяснить.

Испытания

Последний, второй, номер журнала вышел в первые месяцы сорок первого года, а 22 июня началась война.

Наташе и Гале выпала блокада. Тут не выбирали. Это была война не годных к службе, а буквально всех. Если ты остался в городе, то становился мишенью.

Погибали не только от бомб. Всем было трудно, но особенно художникам. Тетка Наташи и Гали Мария помутилась в рассудке и попала в сумасшедший дом.

Вот что удивительно. Не было еды и тепла, а психушки не закрылись. Это было так же странно, как то, что работали парикмахерские. Возможно, только это в блокаду напоминало прошлую жизнь.

Эти больницы существовали не столько для лечения, сколько для того, чтобы пациенты не могли свободно перемещаться. Зачем пугать тех, кому и без того страшно?

За Марией, как и за многими матюшинцами, странности замечали и прежде. Приверженцам реализма особенно досаждали их попытки увидеть невидимое.

Одна картина Марии называется «Растущий плод». На ней изображен процесс умножения. Одну округлость дополняет другая, а другую третья... Сила прибывает, чуть ли не переплескивается через край. Судя по напору, этот избыток предшествуют появлению человека.

Так она ощущала себя недавно, но сейчас все поменялось. Мария была отрезана от мира больницей и блокадой и уже не надеялась ни на что.

Прежняя жизнь допускала одиночество, а теперь она существовала вместе со всеми. Даже то, что когда-то она рисовала, сейчас не имело значения. У всех, кто тут находился, раньше была профессия, но зачем это вспоминать?

Так что к холоду и голоду прибавилось разочарование. Всего этого накопилось столько, что Мария не выдержала. Впрочем, смерть ее положения не изменила. Из общей палаты ее переместили в общую могилу. Родственники об этом узнали тогда, когда все произошло.

Зато Наташа и Галя одолели блокаду и прожили почти до восьмидесяти. Остальное не так оптимистично. Болезнь, сломавшая Марию, обнаружилась и у них. У всех

были замужества и дети, а у близняшек ничего. В промежутке между больницами они клеили коробки и этим зарабатывали.

Обстоятельства сделали их неразлучными. Практически продолжением одна другой. При этом общий для Эндеров ген их не оставил. Обе не расставались с красками и кистями. Дарили свои работы врачам и родственникам. Те, кто рисунки не выбрасывал, скопили их целые чемоданы.

Наташа и Галя вспоминали встречу с Матюшиным. Им было не больше четырех лет, но художник разговаривал с ними на равных. К ним и потом редко кто так относился, так что забыть это было невозможно.

Память избирательна. Можно не вспомнить имя соседки, а об учителе своих родственников говорить так, словно это было вчера. Так же естественно всегда обращаться к любимому автору. Когда-то близняшки пристрастились к Чехову и с тех пор с ним не расставались.

Однажды Галя заболела, температура зашкаливала, к ней приехала «скорая помощь». У врача были усы и борода. Она сразу поняла, что он ей поможет, и сказала:

— Как вы похожи на Чехова.

Зря прохожие показывают на них пальцем. Это только кажется, что можно подуть, и они исчезнут в небесах. На самом деле тут был прочный фундамент. О Чехове и Эндерах-художниках уже было сказано. К ним надо присоединить деда, до революции руководившего работой по уходу за императорскими садами.

Итак, Чехов все время под рукой, а родственники находятся в непосредственной близости. В детстве Наташи и Гали семья занимала одну квартиру. Сперва это был целый этаж, но с каждым годом пространство сжималось.

После войны у близняшек осталась одна комната. Правда, это была комната с историей. Огромные потолки и окна говорили о том, что когда-то тут проводили званные приемы.

В семидесятые дом пошел на капитальный ремонт, и Гале с Наташей дали квартирку в районе проспекта Просвещения. Выбраться в центр стало почти невозможно. Оставалось рисовать навсегда любимые места. Это было все равно что о них вспоминать.

Завершая рассказ о Галине и Наталье, поблагодарим Ольгу Константиновну. Обычно она не позволяла детям вольничать, но тут ее что-то остановило. Благодаря этому девочки смогли выговориться. Потом их судьба складывалась сложно, но сначала была удача.

Кое-что мы знаем о судьбе Кирилла Городкова. Из Ленинграда его семью вывезли на Волгу. Жизнь здесь другая, чем в блокадном городе. Пусть не сытно, но хотя бы тепло. Целыми днями юноша ловил бабочек. Именно тогда ему стало ясно, чем он займется после войны.

Все так и произошло. Институт, аспирантура, защита диссертации... Кончик носа остался на месте, но на лице появилось уверенное выражение. Таков Кирилл на одном фото: сразу видно, что это кандидат, а в будущем, возможно, и доктор.

Умер Городков в 2001 году шестидесяти восьми лет. С тех пор о нем немало написано. Даже Википедия разразилась большой статьей. Впрочем, существует главная о нем память — в названиях многих из открытых им двукрылых спрятана его фамилия.

Можно ничего не знать о том, кто живет рядом. Так до Громозовой вряд ли дошла весть о смерти в блокаду второй дочери Матюшина, Лидии. Зато Борис Эндер, хотя и находился на Алтае, постоянно чувствовал связь с сестрой. После того как Мария умерла, его разговор с ней не прервался.

Борис и тут был учеником Михаила Васильевича. Учитель не только пристрастил его к светлым краскам и чистым формам, но подсказал, как смотреть на мир. Матюшинцы верили, что человек — природное явление. Подобно дню и ночи, снегу и дождю, он не умирает, а переходит в новые состояния.

О смерти сестры Эндер узнал в эвакуации. Родственники ее не провожали, и Борис решил это исправить. На то он и художник, чтобы подчинять пространство, превращать далекое в близкое. Если это удастся на холсте, почему так не сделать в реальности?

Сестра совершила свой путь, а брат с женой своей. В память о ней они «шли с пяти до девяти вечера». Все это время говорили. Обсудили буквально все, и в конце пути он сформулировал вывод: «Я сам скоро отправляюсь, а в оставшиеся годы я должен работать за двоих».

Дальше в дневнике следуют мысли «за двоих»: «Дорогая, я знаю, что ты меня очень любила. Я не знаю, как ты умерла, могла ли ты вспомнить обо мне в последний раз... Я сделаю все, чтобы тебе было хорошо, чтоб ничем не была нарушена твоя красота».

Запись Эндера напоминает матюшинскую, сделанную больше двадцати лет назад. «Лена сказала, — это написано через четыре месяца после ухода Гуро, — что мы с ней неразлучимы уже потому, что жизнь наша... низалась лучами нашей встречи и радостью, найдя общее для нее выражение. Вот почему мы с ней будем все больше и больше работать вместе (соединение в едином). Какая радость».

Вряд ли Борис был допущен к архиву учителя, но, как уже сказано, это школа. Здесь учили не только мастерству, но способности сперва ощутить связь и лишь потом братья за кисть.

Завершим главку работой матери Натальи и Галины Ксении Эндер. Она называется «Печаль желтой девушки». Желтый есть в изображении модели, но больше всего его в фоне. Кажется, вместе с девушкой огорчена сама живопись.

Одного художника спросили, верит ли он в Бога, а он ответил, что верит в искусство. Не только в своих мастеров Филонова и Матюшина, но в возможность говорить с помощью красок. Вот об этом «Печаль желтой девушки». Если художник что-то чувствует, свои эмоции он выражает через цвет.

Это сближало Матюшина и Эндеров. Как и он, они тяготели к абстракции. Когда живопись окончательно освобождается от реальности, она в полной мере становится собой.

К тому же Михаилу Васильевичу было важно, что Эндеры — одна семья. Разве это не природное: каждый сам по себе, но в то же время часть общности. Примерно так деревья растут по отдельности, а вместе образуют лес.

Да и все прочее имеет отношение к органике. Сперва Эндеров было четверо, а потом стало шестеро. Вот уже самые юные, Наташа и Галя, рисуют. Вряд ли им известны теории Матюшина, но они видят картины родственников — и пытаются им следовать.

Как сказано, яблоко от яблони недалеко падает. Мастерства девочкам не хватало, лица и фигуры удавались неважно, но краски были на удивление свежие. Они ложились легко, как дыхание на стекло.

Видение в трамвае

Теперь упомянем параллельную историю. Годы примерно те же, да и жили дочери Матюшина рядом с Громозовой. Наверное, встречались на улице, но вряд ли разговаривали. Отличие жен отца для них заключалось в том, что третья еще хуже второй.

Пусть дочери отделились сами, но без них нельзя представить судьбу Матюшина. Вместе с этим разрывом, в нее входят события конца тридцатых годов. К этому време-

ни художник уже умер, но его биография не завершилась. Она включает в себя то, что произошло после ухода.

Больше всего мы знаем о Марии Михайловне. В тридцать седьмом расстреляли ее мужа Константина. На следующий год в Темниковский лагерь в Мордовии отправилась жена. Дома оставалась дочь Елена пятнадцати лет. Ее избавили от опасного окружения, и ей предстояло жить одной.

Затем девочке выпали война и блокада. Было страшно, холодно и голодно, но она справилась.

Кстати, ее мать тоже все одолела. Обычно освобождали после смерти Сталина, а ее выпустили в сорок шестом. Вряд ли ей позволили жить в Ленинграде, но теперь дочь могла ее навещать.

Да и дальше все было неплохо. Немногие Матюшины прожили так долго. Умерла Мария Михайловна в восемьдесят восьмом. Следовательно, ее судьба началась при Николае Втором, а закончилась при Горбачеве.

Это уже не далекое, а наше с вами прошлое. Почему бы по этому поводу не пофантазировать? Не представить, как Мария Михайловна садится в трамвай. На фото начала века она похожа на всех звезд немого кино сразу, а сейчас ее не узнать. В ее возрасте все носили вязаные шапки и выдавшие виды пальто.

Поначалу колеблешься: она или не она? Затем Матюшина обращается к стоящему впереди пассажиру, и все сомнения отпадают.

Что может быть проще просьбы передать пять копеек, но поднятый вверх подбородок говорил о том, что в ее жизни были другие просьбы и иные времена.

Значит, лагерь не выбил уроков Серебряного века. Не хватает только того, чтобы она сделала книксен. Впрочем, в ее годы уже не кланяются, а улыбаются кончиками губ.

Опять Громозова

У всех свои несчастья. Громозовой тоже досталось по полной. Жизнь под бомбами в блокаду была не менее сложной, чем в Темниковском лагере.

Недавно все это казалось чем-то вроде картинок в учебнике. Как писал Городков в первом номере журнала: «Ребята, почему вы все интересуетесь войной, а химией совсем не интересуетесь? Ведь без химии воевать нельзя. Возьмите, например, бомбу, она начинена химическими веществами». Завершает этот текст предложение помочь разобраться: «Если кому-нибудь что-нибудь непонятно, звоните мне по телефону. Звоните вечером, а то я в школе. Звоните до 8 часов, потому что я ложусь спать... Иногда я не сплю и позднее, но мама заставляет меня ложиться в 8 часов».

Под этим обращением написано: «Февраль 1941 года». Телефон не указан, потому что читатели его знают. Это все его друзья, и он может им пожаловаться. Почему мама относится к нему как к маленькому? Он уже разбирается в оружии, а его укладывают в такую рань.

Теперь все это стало реальностью. Химические вещества явлены не в формулах, а во взрывах. В считанные недели дети повзрослели и почти сравнялись с родителями. По крайней мере, трудности у них одни на всех.

Однажды о бомбе, которая «начинена химическими веществами», Громозова подумала применительно к себе. Когда она вышла в сад, рядом раздался грохот. Снаряд мог разнести в щепки дом на Песочной, но упал невдалеке.

У нее потемнело в глазах. Она решила, что это от ужаса, но зрение не вернулось. Теперь мир был для нее не картиной маслом, а скорее рисунком карандашом.

Казалось бы, теперь у Громозовой не будет ни живописи, ни литературы. Для многих так бы и было, но не для нее. Если у нее возникали проблемы, она не скисала, не устраивала истерики, а начинала действовать.

Как назвать это качество? Наверное, живучесть. Чем сложнее была ситуация, тем Громозова становилась активней. К тому же ей очень помогли новые друзья. Когда она подумала, что литературная жизнь для нее закончилась, эта жизнь закипела рядом. Выйдешь из квартиры в общий коридор и непременно встретишь автора пьес и даже романов.

Однажды это был сам Александр Фадеев. Ольга Константиновна смутилась, но он отнесся к ней по-свойски. Извинился, что курит, и пообещал не затягивать с приемом в Союз писателей.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Новые соседи

Как мы помним, отношения Гуро с предметами складывались непросто. Чашка или ключи так и норовили выскользнуть из рук. Сейчас Громозова не стала бы ее за это корить. Если рядом никого не было, любой ее шаг мог закончиться катастрофой.

У Ольги Константиновны и без того хватало проблем, а тут еще слепота. Другой бы впал в отчаяние, но она собралась и попыталась найти выход.

Рисовать уже вряд ли придется, но можно писать. Ведь слова рождаются без участия зрения. Их не видят, а представляют. Другое дело, как это зафиксировать. Если бы у нее была помощница, они бы справились вместе.

Громозова позвонила одному и другому, и райком прислал ей секретаря. Теперь ее работа за письменным столом напоминала производственное совещание. Сперва диктуешь, а затем на слух вносишь поправки.

По «Автобиографии» видно, как Ольга Константиновна об этом говорила. Не отрицала, но старалась не задерживаться. Упомянула о слепоте и сразу переходила к планам на будущее.

«В 1941 году, в дни блокады, я потеряла зрение. — писала она. — Слепая, написала книгу „Песнь о жизни“, вышедшую в издательстве „Молодая гвардия“ в 1946 году. Месяц назад закончила и передала издательству „Молодая гвардия“ новую книгу „В старом доме“».

Как видите, жизнь продолжалась. Обещала закончить одну книгу, а предложила издательству две. Не только справилась с трудностями, но перевыполнила намеченный план.

Очень помогли новые жильцы. Особенно Всеволод Вишневский. Разглядеть его сейчас она не могла, но хорошо помнила фото в газете: морская форма, взгляд прямой, подбородок вздернут... Такой управится с чем угодно — хоть с кораблем, хоть с пьесой, которую надо закончить в срок.

Общая картина и спектакль

Пришло время поговорить о ее соседях. В сорок первом году Вишневскому заказали пьесу для Театра музыкальной комедии, а он пригласил в соавторы поэта Всеволода Азарова и драматурга Александра Крона. Чтобы ничто их не отвлекало от главного, они поселились на Песочной.

Жили они тут без жен, почти как на корабле. Все трое служили на флоте, так что для них это было привычно. Когда их отправляли на задание, они месяцами не видели дома.

Дружат морские лучше сухопутных. Если хочешь поговорить о жизни, обратиться к товарищам по службе. Самые удачные тексты о море были результатом таких встреч.

Посидят за столом двое, много выпьют и так же закусят, и сюжет готов. Остается только его записать.

Вот и на Песочной велись такие разговоры, и из них постепенно рождалась пьеса. Очень хотелось, чтобы благодаря ей в зале стало тепло. Если батареи не греют, то вместо них будут шутки и песни.

Спешили успеть к празднику Октября. Для этого трех драматургов дополнили тремя композиторами. Так быстрее и вроде как с подстраховкой. Если кто-то неожиданно выбывает, его место занимает другой.

Работали едва ли не сутками. Перерывы делали для того, чтобы поспать и подышать папиросой. Еще, конечно, поговорить с соседкой. Пусть она видела море только с пляжа, но ее жизнь не уступает службе на флоте.

Литераторы поколения Вишневого знают только друг друга, а с Громозовой дружили Гуру и Бурлюк. Когда об этом думаешь, прошлое приближается, и ты ощущаешь себя звеном в цепи.

Пьесу быстро поставили и 7 ноября 1942 года сыграли в бывшей Александринке. Это был, как сказали бы в старину, «праздников праздник». Дело тут не только в спектакле, но в театре. Так уж он устроен, что к происходящему на сцене прибавляется красно-золотой зал.

Три драматурга все сделали правильно. Прежде всего, верно выбрали жанр. За стенами были темные холодные улицы, а герои наперебой веселились, словно все это происходило не в Питере, а в Одессе.

Одессой действительно вдохновлялись. Азаров сетовал на то, что его пригласили не как поэта, а как одессита. Всю дорогу он рассказывал соавторам разные байки.

Среди персонажей было много молодых женщин. Публика сидела в пальто, а на них были ситцевые платья. Пожалуй, эти платья «переигрывали» сюжет. Они вселяли уверенность, что зима не навсегда.

Еще в зале было много военных. Многим из них утром вручили ордена, а к награде прилагался билет в театр. Вечером происходила удивительная перемена. Столько месяцев они были участниками, а вдруг становились зрителями.

На сцене говорили о том, что пережил каждый, но из зала это выглядело иначе. Словно увиденным из другого времени. Когда-нибудь наступит такой день, когда блокада станет легендой. Окажется рядом со «Словом о полку» и «Севастопольскими рассказами».

В этой несложной пьесе была загадка, а также отгадка. Зрители ощущали дуновение еще не наступившей эпохи. Кому-то даже казалось, что война идет на сцене, а за стенами театра продолжается мирная жизнь.

Эта иллюзия — пусть кратковременная! — дорогого стоит. Поэтому банкет, как и спектакль, прошел на одном дыхании. Отсутствие еды и выпивки восполняло обилие тостов. Немного приободрились даже те, кто до этого месяцами не улыбался.

Больше всех радовались соавторы. Как-никак, дошли до финала, выполнили важное задание. К тому же, как сказано, приблизили будущее. Помогли зрителям увидеть себя и свою ситуацию со стороны.

Чуть ли не в эту ночь, поблагодарив Ленинград и Громозову, они вернулись на корабли. Как говорится, пост сдал — пост принял. Отчитайся за командировку и приступай к основным обязанностям.

Продолжение в письмах

Ольга Константиновна не исчезла из жизни Всеволода Витальевича. В Питере они часто разговаривали, а теперь писали друг другу письма.

Дом на Песочной Вишневский часто называет «домиком». В этом слове есть сердечность — и ощущение дистанции. Будто переворачиваешь бинокль, и большое становится маленьким.

Заканчиваются послания приветами — сперва соавторам, а затем Обертышевым. Все эти месяцы драматурги прожили через стенку с этим семейством.

Специально отметим, что Всеволод Витальевич не страдал забывчивостью. Помнил всех, с кем его свела судьба. Если Обертышевы вошли в его жизнь, то они в ней остались.

Глава семейства — участковый милиционер. По службе он контролирует дворников и ищет по чердакам шпионов, а дома стойко терпит вечно бурчащую жену. Впрочем, с соседями они не ссорятся: «Помогаем им чем и как можем, — записал в дневнике Вишневский, — а они в свою очередь помогают нам».

Сердечность Всеволода Витальевича точечная. Сказал что-то хорошее о соседях, признался в любви «домику». Затем тон меняется, и он заканчивает широковещательным: «Обнимаю весь Ленинград».

Разница тут такая, как если бы он сперва сидел за столом, а затем встал и вытянулся по струнке. Слышите, как шелкают каблучки? Кажется, это не частное письмо, в котором слов может быть сколько угодно, а телеграмма, где каждый знак имеет цену.

«Был в „Правде“, беседовал. В ближайшие дни буду на совещании писателей, ученых, академиков, созываемых „Правдой“».

Драматург должен слышать интонацию. У каждого героя она своя. Плохо, если голоса сливаются, но не лучше, когда герой говорит с одним, а имеет в виду другого или всех вместе.

Именно такой контраст в названии «Оптимистической трагедии». Начиная с названия, нам предлагают два варианта. Что-то похожее есть в диалогах ведущих. Через головы зрителей они разговаривают с потомками.

«Первый (рассматривая пришедших на трагедию). Кто это?

Второй. Публика. Наши потомки. Наше будущее, о котором, помнишь, мы токовали когда-то на кораблях.

Первый. Интересно посмотреть на осуществившееся будущее. Тут тысячи полторы, и наблюдают за нами... Не видели моряков!

Второй. Молчат. Пришли посмотреть на героические деяния, на героических людей».

Вот и Вишневский был как эти ведущие. Один абзац обращен к Громозовой, а другой куда-то вдаль. В одном случае интонация разговорная, а в другом — по-газетному прямолинейная. Тут уже диалога не может быть. Если что-то утверждается, то так оно и есть.

«Да, правильно еще в 15 году Владимир Ильич Ленин характеризует нашу эпоху: „Прерывистая, скачкообразная, катастрофичная, конфликтная“... все это естественный результат развития крупного производства, — эта тенденция ясно наблюдается веками. Можно добавить: и результат нервного обострения людской психики. Мир

неумолимо и быстро идет к универсализации. Пространства побеждаются. ...Демократическое движение разламывает старые устои, и отсюда бешеный вал реакции...»

Зачем Громозовой эти соображения о том, что пока не названо глобализацией? У нее плохое зрение, деревянный дом с печным отоплением и еще много разных проблем. Скорее всего, Вишневский задумал статью, а пока примеривается, оттачивает формулировки.

Конечно, вариантов не два, а больше. Среди фраз вроде тех, что мы привели, вдруг вырывается: «Я же не профессионал». Это признание говорит о том, что он бывает не только гордым и уверенным, но растерянным и слабым.

Обычно теплота у него отдельно от пафоса, но бывает, что вместе. Вы считаете, что на вершинах власти пустынно и холодно? Так вот там тоже живут люди. О Папанине Вишневский пишет, как об Обертышевых. Восхищается не его подвигом, а вполне мирскими качествами.

Представьте, вроде как объясняет он Громозовой, Папанин — это не только фотография на первой полосе, а веселый добрый человек. Готов во всем составить компанию — особенно если под крепкий чай и хорошую еду.

«Он поставил мне у себя на службе, — пишет Вишневский, — стол со сметаной, творогом, огурцами, яблоками, хлебом и чаем. Все „убрали“. Чудно побеседовали».

Слово «убрали» очень подходит. Особенно после того, как Иван Дмитриевич накрыл «поляну». Вечер получился отличный! Посидели, как где-нибудь в деревне, где огурцы с грядки ценятся больше московских вкусок.

О жизни и работе Вишневский пишет в самом письме, а о награждениях в постскриптуме: «Награжден вторым орденом Красного Знамени. Представлен к ордену Отечественной войны первой степени». Для него настали такие времена, когда его отмечают ко всем датам и даже без дат.

Лишь однажды об этом сообщается не за границами основного текста. Дело тут не в самом событии, а в том, кто поставил галочку около фамилии драматурга.

«По линии „Правды“ отмечен орденом Трудового Красного Знамени... Я горд тем, что награждение утверждал сам т. Сталин».

Случается, Вишневского удостоит не орденом, а должностью. Так в сорок шестом году ему вышло назначение главным редактором журнала «Знамя».

В каком-то смысле он вернулся на корабль. В журнале сотрудников не больше, чем матросов на небольшом судне. Как сказано, «куда ж нам плыть?». У него были разные ответы на этот вопрос, и они плохо друг с другом связывались.

Сами посудите — следовало увеличить число читателей, но при этом не лишиться должности. Держать связь со старыми, проверенными авторами — и открывать новых. Все это походило на оксюморон, упомянутое название пьесы. Впрочем, он сам ее написал, а значит, это было ему по силам.

В сорок шестом году журнал был озабочен поисками молодых. Вообще-то, их всегда ищут и редко находят, но сейчас вопрос стоял ребром. Вряд ли Вишневский знал, что готовится постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», но, как видно, что-то предчувствовал. На случай исчезновения кого-то из прежних кумиров нужно было сделать так, чтобы это место не пустовало.

Одной из главных его забот стал поиск поэтессы, которая заменит Ахматову. Подходящий вариант нашелся на удивление быстро, о чем он с радостью сообщает Громозовой: «Раскопал замечательную поэтессу — Галину Николаеву. Она фронтовик... Пишет нам из Нальчика, где находится после фронта. Это божий дар!.. Читали на днях вслух цикл ее стихов: я, Тихонов, Симонов и др. Поздравили ее по телеграфу, напеча-

таем сразу 15—20 ее стихотворений... Это волевая, умная, совершенно самостоятельная, тонкая натура... Условно говоря, „молодая, красноармейская Ахматова“, а может быть, и покрупнее».

Николаева была молода, имела фронтовой опыт, и ее ничто не связывало с прежней жизнью. Родилась в деревне, на войне была врачом, а в редкие передышки писала стихи. Творчество для нее началось не со знакомства с известными литераторами, а с контузии, полученной в Сталинграде.

Вроде не подкопаешься. Жизнь героическая, темы животрепещущие. Правда, однажды биографии этих женщины совпали. Обeim было около тридцати, когда расстреляли их мужей.

Так что все непросто. Казалось бы, и моложе, и идеологически выдержанней, но, присмотревшись, видишь изъян. Хорошо, Николаева об этом не распространялась. К тому же незадолго перед арестом они развелись, что отчасти снимает с нее ответственность.

Кстати, Ахматова тоже развелась с Гумилевым, но до конца дней называла его мужем, а себя считала вдовой.

Впрочем, мы сейчас о другом. В сорок пятом «Знамя» напечатало стихи и прозу Николаевой, а в августе сорок шестого вышло постановление. Так что все произошло вовремя. К тому моменту, когда началась травля поэтессы, ее конкурентка уже заявила о себе.

Вот ведь какие перемены. В феврале просишь «многоуважаемую Анну Андреевну» дать подборку для журнала, а через полгода она становится «гражданкой Ахматовой». Он явно намекал на то, что так с ней будут разговаривать в тюрьме.

Наверное, что-то такое Всеволод Витальевич говорил на людях, но впервые это было сказано наедине с собой. Впрочем, как мы убедились, он путал личное и общественное. Вот и сейчас делал запись в дневнике, но обращался к «городу и миру».

Ахматову Вишневский упоминает заодно. В контексте бурно кипящей литературной жизни. Представьте рядовое писательское собрание. Что-то говорится с трибун, но больше в перерывах в курилке. Здесь он услышал новость и коротко ее записал:

«Очень много совещаний... Вчера общемосковское собрание писателей. Слух о том, что гр. Ахматова застрелилась».

Как видно, всех перебрали и наконец дошли до ленинградских коллег. Вы не слышали, что сделала Ахматова? Взяла пистолет, доставшийся ей от Гумилева, и выстрелила в висок.

Важнее всего в этой записи тон. Эта новость не заставила Вишневского вздрогнуть. Что и говорить, Обертышевым повезло больше. Шли годы, а его отношение к ним оставалось столь же сердечным.

Как писал пародист Архангельский: «Все изменилось под нашим зодиаком, но Пастернак остался Пастернаком». Ахматова тоже осталась Ахматовой, а Николаева Николаевой. Как-то забылось, что ее прочили на место первой поэтессы. Да и поводов для этого не было. Вместо того чтобы развить успех, она перешла на прозу.

Судя по письму Громозовой, такой финал был предрешен. Редактор «Знамени» предрекает Николаевой победу, но картину рисует негармоничную.

Особенно удивляет это место. Написано, что у «красноармейской Ахматовой» есть «божий дар». Странная, согласитесь, арифметическая операция. «Красноармейская» плюс Ахматова плюс давно никем не вспоминаемый «божий дар».

Тарасенков

Матюшин не позволял ученикам ничего рисовать отдельно. Только вместе с фоном и другими фигурами. Это была забота не только о композиции, но о картине мира, в которой все связано со всем.

Вот и Вишневого лучше понимаешь, когда рядом с ним его заместитель по журналу Анатолий Тарасенков⁵. Больно многое их связывает и различает.

Служба во флоте и работа в литературе научили Вишневого многое пропускать. Иногда и надо поспорить, но лучше сделать вид, что не расслышал. Если Матюшина нельзя называть, то он даже в письмах не нарушал запрета.

Отдадим должное его выдержке. Это тоже капитанское. Он давно живет сухопутной жизнью, но не разучился читать сигналы. Рука вверх значит одно, а вниз другое. Чтобы верно ориентироваться, надо внимательно следить за флажками.

Кстати, в книгах Громозовой мужа практически нет. Конечно, догадаться несложно. Если на обложке написано «Матюшина», остается единственный вариант.

Предположим, читатель разгадал эту загадку и хочет знать больше. Ольга Константиновна рассказывает, что ее муж преподавал в академии и у него было много учеников. Вот, пожалуй, и все. О том, что их связывало и как они жили, не сказано ничего.

Таковы требования, и Громозова им следует. В этом смысле ее положение такое же, как у редактора «Знамени».

Едва ситуация начинает меняться, появляется решительный тон. С той же непреклонностью, с которой он произносил «отдать швартовы», Всеволод Витальевич говорит о рукописи Матюшина: «Теперь время для нее. Ставьте вопрос перед издательствами».

Так Вишневский лавировал между категоричностью и уступчивостью. В этом смысле Тарасенков был другой человек. Хотя он тоже служил на флоте, но выполнял приказы без удовольствия. Даже изобразить, что ему это нетрудно, у него не всегда получалось.

Если нельзя жить по-своему, можно чередовать исполнение с нарушением. Бывало, Тарасенков выполнит задание и сразу сделает наоборот. Порой даже сидел он не как человек при должности, а так, как ему хотелось.

Когда к нему в кабинет заходили авторы или коллеги по журналу, он со стула пересаживался на стол. Расположится среди рукописей, да еще болтает ногами. Наверное, так он делал тогда, когда был маленьким, и эта привычка закрепилась.

Не представить в этой мизансцене Вишневого. Как редактор он отвечал за содержание, а как офицер — за форму. Спина должна быть прямой, рукопожатие твердым, речь лаконичной... Всеволод Витальевич и был таким. Когда после «Оптимистической» выходил на аплодисменты, его принимали за героя пьесы.

Может, дело в том, что гражданский дух из Тарасенкова не выветрился? Его другу и начальнику это создавало много проблем. Да и не только ему. От советского критика ожидаешь цельности, а тут сплошные метания. Сегодня он восхищается, а завтра ругает почем свет.

Сложно быть критиком — и искренним ценителем. Больно разные тут требования. Критику следует быть на страже, а ценитель должен просто любить. Заранее прощать все предмету своих чувств.

⁵ Первой о А. К. Тарасенкове написала Наталья Громова в кн.: Громова Н. Распад: Судьба советского критика, 40—50-е годы. М., 2009.

Как примирить эти противоречия? Тарасенков доводил рукописи до печати, но не обольщался. Если где-то существует идеальное «Знамя» — так, как видно, думал он про себя, — там все это отправляют в корзину.

Вишневскому на него жаловались. Да и он и сам был не слепой. Уж очень нестандартное поведение. Так сказать, «разговорчики в строю». Постоянно хотелось спросить: почему тебе позволено то, что другим запрещено?

Взять, к примеру, его, Вишневского. Храбрец, пулеметчик, а в мирной жизни человек опасливый. Даже телефону не доверял. Видно, ему мерещилось присутствие кого-то третьего. Поэтому он подстраховывался дважды. Сам писал записку сотруднику и сам относил в соседний кабинет.

Были и другие столь же удивительные реакции. В одной рукописи Всеволод Витальевич подчеркнул выражение «картошка в мундире». Как оказалось, в нем заговорил морской офицер. Так он вступался за честь мундира, которому не место рядом с какой-то картошкой.

Если Вишневский терпел Тарасенкова, то только из-за их общего прошлого. Во время таллинского перехода его будущий заместитель едва не утонул. Когда пришел в себя, отказался от лазарета и вернулся к месту службы.

Как уволить такого человека? Всеволод Витальевич колебался, сто раз отмерял, но все же решил отрезать. Не очень понятно, что стало поводом. Возможно, тут не конкретная причина, а сумма ощущений.

Об этом Вишневский пишет Громозовой в той же хорошо нам знакомой манере. Вытянул спину, щелкнул каблуками и отрапортовал: «Расстался с Тарасенковым. Чем дальше, тем больше он вел куда-то в сторону, капризничал, упрявился. Сполз в эстетизм. Писал хвалы Пастернаку и пр. Это все для „Знамени“ не годится. Я крепко с ним поругался и из редакции убрал».

Так и выглядят вердикты. Короткие фразы, формулировки соответствующие. Не «ушел», а «сполз», не «уволил», а «убрал». Кроме тона и некоторых слов, здесь все правильно. Невозможно делать то, что тебе полагается, и в то же время оставаться собой.

Оказавшись без должности, Анатолий Кузьмич попробовал преодолеть раздвоенность. Новое его занятие было поистине утешительным. Оно позволяло целые дни проводить дома за чтением хороших поэтов.

Выход назывался: «библиографический указатель». Дело в том, что Тарасенков собрал лучшую в Москве библиотеку поэзии начала века и решил ее описать.

В тридцатые—сороковые годы книги исчезали быстрее, чем люди. Их отправляли в особые хранилища, и это было безнадежней, чем ссылка. Указателю надлежало пусть не вернуть книгу читателю, но хотя бы сказать, что она была.

Теперь ни один автор не затеряется во времени. Вот они где, под одной обложкой. Тот, кто займется этой эпохой, непременно обратится к его труду.

Информации в указателе чуть больше, чем на надгробном памятнике. Кроме имени, фамилии и лет жизни, названы книги, которыми автор пополнил историю Серебряного века.

Вот она, «эврика»! Есть ли что-то важнее того, что мандельштамовский «Камень» вышел в тринадцатом году? Фамилия поэта и название сборника такая же непреложность, как имя города, где он увидел свет.

Следовало не только уточнить место, год и издательство, но создать лучшие условия для авторов книги. Весь ситец в доме уходил на переплеты. Жена рассчитывала сшить платье, а Анатолий Кузьмич одевал Волошина и Гумилева.

Всю жизнь Тарасенков оценивал, но, оказывается, это можно сделать без слов. Представьте, что замерзшему человеку предложили шарф и пальто. Это происходило с книгами, когда у них появлялись новые переплеты.

Остается сказать о финалах жизни главного редактора и его бывшего заместителя.

Если бы Вишневский был не так осторожен, мы бы знали о нем больше. Хорошо, в письмах промелькнуло одно-два правдивых слова. Пусть это немного, но все же больше, чем ничего.

«Приятно, когда видишь перед собой тридцатилетнего б. офицера, сталинградца, б. киевского архитектора Виктора Некрасова... — писал Всеволод Витальевич Громозовой. — Он принес роман о Сталинграде... Это вещь ясная, крепкая, сильная, очень честная... Вероятно, роман пройдет боевиком».

Раз Некрасов честен, значит, остальные выдают желаемое за действительное. Это написал человек, регулирующий поток рукописей! Он вроде как согласился с тем, что неправильно жил.

Видно, сомнения одолевало и начальство. Посмотришь в оглавление, а там все то же. Есть Казакевич и Виктор Некрасов, а о Ленине почти ничего. Кстати, это говорили не чужие редактору люди. Сейчас они его обвиняли, а раньше не раз бывали у него в гостях.

Не удалось Всеволоду Витальевичу решить упомянутую «квадратуру круга». Читатели у «Знамени» появились, а должности он лишился. С этих пор судьбы двух однополчан уравнились. Больше не существовало ни «главного», ни «второстепенного». Даже умерли они в близкие сроки — оба ушли непозволительно рано.

Утешаешься тем, что время было сложное. Поэтому сердце болело у всех. Вишневский пережил подряд два инсульта. Несколько десятилетий он недоговаривал, а сейчас совсем замолчал. На его потерявшем подвижность лице застыло мрачное выражение.

Тарасенков тоже болел, но надеялся выкарабкаться. Приходил в себя в санатории. Он бы вышел из него заметно окрепшим, если бы не двадцатый съезд. Никто не знал, какие на нем будут сделаны выводы, но что-то тревожное витало в воздухе. Было ясно, что это коснется не кого-то в отдельности, но буквально всех.

В ночь перед открытием Анатолию Кузьмичу не спалось, в голову лезли мрачные мысли, и сердце не выдержало.

Говорят, у организма есть защитная функция. Может, Анатолий Кузьмич так себя уберет? Куда хуже было тем, кто пережил следующий день, а потом долго жил с этим знанием.

Последнюю работу Тарасенков не опубликовал. Больно непривычным в те времена было отсутствие выводов. Умер он автором, чья книга залегла в письменный стол. Так вечный критик, то умный и справедливый, то злой и пристрастный, оказался рядом с Цветаевой и Мандельштамом.

Через десять лет указатель вышел. Те, кто знал составителя, удивлялись перемене. Много лет он раздавал оценки, одобрял и клеймил, а тут позиция отсутствовала. Если, конечно, не считать констатации, что это было — и есть.

ОТСТУПЛЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ЗА ПИСАТЕЛЬ БЫЛА ГРОМОЗОВА

Блокадный дневник

Количеством Ольга Константиновна превзошла Елену Гуро. Если все произведения Елены Генриховны составят одну, не самую толстую, книгу, то она выпустила их с десяток.

Начнем с ее первого большого текста, написанного в блокаду. В это время многие горожане писали дневники. Ими руководило ощущение важности исторического момента и желание не исчезнуть совсем, оставить после себя след.

Этот дневник не сравнить ни с каким другим. Казалось бы, война отменила прежние формы жизни, но для Громозовой ничего не изменилось. Как всегда, задач у нее было две. Следовало заинтересовать читателя и при этом не расстроить редактора.

Какой в умирающем городе читатель, а тем более редактор? Хотя ответ очевиден, Громозова все делала так, словно готовила публикацию. Даже предупреждала возможное недовольство. Писала от лица некоей Евгении Михайловны. Если понадобится, свои ошибки можно будет списать на нее.

Присутствие двойника похоже на признание. Всю жизнь Ольга Константиновна раздваивалась. Вот и в ее книге есть эта сложность. Трудно понять, это ее героиня или она сама.

Все выглядело бы привлекательней, если бы она озаботилась температурой слова. При тридцати четырех и двух человека посещает сонливость, а фраза становится негибкой, как солдатский ремень. Постоянно встречаются обороты, которые более уместны были бы в официальной бумаге.

Вот ее запись, сделанная в начале блокады. Пока не очень голодно и холодно, но уже понятно, что дальше будет только хуже. Количество смертей пойдет не на сотни, а на тысячи.

«Декрет правительства о всеобщей трудовой повинности мобилизовал большинство женщин на окопную работу. Дети остались одни. Они важно ходили, позвякивая ключом от комнаты, повешенным им матерями на шею. Скоро они поняли, что надзора за ними нет, и они могут делать все, что хотят.

— Аля, пойдем купаться, — обратилась к бледной белокурой девочке черненькая Регина.

— А где мы будем купаться?

— Как где? В квартире нет никого. Мы напустим в ванну воды и выкупаемся.

Живая Регина подговорила еще рыженькую Лиду, и они втроем направились домой.

В коммунальной квартире днем никого не оставалось. Все были заняты на работе. Девочки, напустив воды, залезали в ванную. Прыгали, плавали, ныряли в холодной воде. Больше часа ребята сидели в ванне. Болезненная Аля посинела от холода и, стуча зубами, попросилась домой.

Регина и Лида отделались насморками. Аля схватила воспаление легких и через несколько дней умерла в больнице».

Громозова считает, что все беды от излишней самостоятельности. Если бы Аля слушалась взрослых, она бы и сейчас сидела за партой и пять раз за урок тянула руку. Особенно удивляет спокойный тон. Такой холодок чувствовался в записи Вишневского об Ахматовой.

Только два слова выдают ее страх. Вместо «Регина была живчиком» Ольга Константиновна написала: «живая Регина». Так она проговорилась, что все могло закончиться хуже, но, к счастью, обошлось.

Прозу, как и живопись, определяют пропорции. Запись говорит о непослушании, а тому, чем все закончилось, посвящено одно предложение. В текстах о жизни «в революционном развитии» такие моменты принято пропускать. Когда это не удается, ограничиваются констатацией.

Кроме закона социалистического реализма, Громозова руководствовалась уставом партии. Он столь многое определяет в жизни, а потому не мог не отразиться в искус-

стве. Возьмем принцип демократического централизма. Кто-то считает, что это союз острого и холодного, но вот вам пример его способности организовывать, пронизывать и влиять.

Партийная организация и партийная литература

Как все изменилось со времен Гуро! Громозова по-прежнему считает ее подругой, близким человеком, но думает совсем иначе.

Из любого текста Елены Генриховны следует, что в мире не существует неравенства. Дерево не важнее травы, человек не главнее сородича. Все, что есть на свете, являет собой части целого.

Если для Гуро иерархия отменяется, а большое равно малому, то у Громозовой все наоборот. Окружающая жизнь напоминает хорошо отлаженный механизм.

Вот Ленин куда-то спешит, но на полминуты остановился. На ходу что-то сказал, и от этих слов, как от приводного ремня, началось движение. Бумага появилась, извозчики предлагали помощь, а книги распространялись по всей стране.

«Вижу, как дверь, у которой толпились, распахнулась, и оттуда в пальто, в кепке быстро вышел Ленин... Товарищи плотно его окружили. Каждый спрашивает что-то. Конечно, им же трудно ориентироваться сразу на такой сложной работе!.. Бонч тоже продвинулся вперед, слушает.

Ленин сначала отвечал, а потом протиснулся к выходу и громко так сказал:

— Работать надо, товарищи, работать!

Все постепенно разошлись. Бонч-Бруевич подошел к столу, где лежал его портфель, увидел меня. Вижу, что Владимир Дмитриевич спешит, волнуется. Он торопливо написал денежные документы.

— Что у вас? Как идет работа?

Я ему сейчас же свои жалобы: бумаги нет, ломовых извозчиков нанять невозможно, на почте не принимают посылки, и вообще кругом саботаж.

А он посмотрел на меня и вдруг не своим, а ленинским голосом сказал:

— Впервые строим социалистическое государство. Готовых рецептов у нас нет. Инициативы надо побольше, изобретательности. Работать надо, Ольга Константиновна, работать!

Он схватил свой портфель и исчез».

Для пущей убедительности Бонч заручается поддержкой начальства и говорит «ленинским голосом». Затем опять повторяет вождя, но в обратном направлении. Выходит столь же быстро, как тот появился.

Интересно, воспроизвел ли Владимир Дмитриевич картавость? Еще сложнее оказалось Громозовой. Если она соединила голоса ленинский, Бонча и собственный, то имело ли тут место грассирование? Если нет, то что тут было ленинского?

Дело не в узнаваемых интонациях, а в напоре и значительности. Для примера вспомним памятники Ленину. Когда мы протягиваем руку, это означает: «вам туда», — и совсем иначе это выглядит у человека на постаменте.

Бонч и Громозова почувствовали себя в роли. Неизвестно, куда в этом состоянии двинулся Владимир Дмитриевич, а Ольга Константиновна пришла в издательство.

«Сотрудники окружили меня:

— Что сказал Бонч?..

— Как надо поступить?..

— Что сделать?..

А я смотрю на них строго и кричу:

— Мы же первые строим социалистическое государство! Готовых рецептов нет. Работать надо, товарищи, работать! Побольше инициативы, изобретательности».

Это и есть «ручное управление». Чтобы работа сдвинулась с места, один должен накричать на другого, а другой на третьего. Когда они по очереди выпучат глаза и замашут руками, все сразу получится.

Ольга сама удивляется, как несложно это устроено. «И что вы думаете? — пишет она. — Работа пошла куда лучше».

Принцип демократического централизма имеет отношение и к частной жизни. Если существует вертикаль, которая все связывает, то есть и вершина. Тут для Громозовой все однозначно.

Ее знакомство с Лениным было шапочным, но более частых встреч она бы не выдержала. Иногда на лестнице или в коридоре Смольного они обменивались парой фраз. Казалось бы, ничего не случилось, но у нее уже горели щеки и туманился взгляд.

Когда по своим делам вождь стал заходить в издательство, они стали видеться чаще. Впрочем, последовательность не менялась. Он что-то говорил, а у нее перехватывало горло. С Хлебниковым или Маяковским она спорила, а тут превращалась в соляной столб.

Владимир Ильич писал «необыкновенно быстро и очень сосредоточенно. Иногда принесешь ему стакан чая, поставишь на стол, а он даже головы не поднимет, все пишет. И если заговоришь с ним, в такие минуты он даже не услышит».

Что тут скажешь? Великий человек! Остается смотреть и восхищаться. «Бывало, связываешь готовую библиотечку для какого-нибудь рабочего кружка, — продолжает Громозова, — подойдет Владимир Ильич, брошюрку за брошюркой переберет. Если все правильно подобрано, — похвалит, улыбнется. Какая хорошая у него улыбка!»

Библиотечки собирались в соответствии с рекомендациями, но вождь не ленится перепроверить. Хоть и не царское это дело, он должен убедиться, что у авторов одна позиция. Примерно такая, как у него.

Есть еще примеры, но, пожалуй, достаточно. Столько лет прожить с Матюшиным — и все же согласиться на все серое! Серый, невыразительный стиль. Серые, неинтересные мысли. Впрочем, прежде всего, изменилось время. Теперь ценилась не эффективность, а блеклость, не отличие, а сходство.

Товарищи ее юности еще сопротивлялись или пытались совмещать одно с другим, а она сразу сдалась врагу. Каждым текстом подтверждала то, что написано на первой странице «Смерти Вазир-Мухтара»: «На очень холодной площади в декабре месяце тысяча восемьсот двадцать пятого года перестали существовать люди двадцатых годов с их прыгающей походкой». Переправим один век на другой, прибавим лет пять и увидим ситуацию ее поколения.

Действительно, вместе с сутью изменилась внешность жизни. К походке, о которой сказал Тынянов, можно прибавить одежду. Вспомнить, как Мандельштам предупредил своего приятеля: «Не носите эту шляпу, нельзя выделяться, это плохо кончится».

В этой ситуации вариантов немного. Впрочем, для тех, кто ушел в тень, и для тех, кто вписался в поворот, правила одни. Никто не подпрыгивал при ходьбе, а тот, кто прежде носил желтую кофту, сменил ее на френч. Покрой вроде похож, но смысл другой.

Как сказано, кто-то сопротивлялся, но для Громозовой не было выбора. Об этом говорят приведенные цитаты. Ее фраза — а что это такое, как не внешность текста? — исключала оригинальность. Не улыбалась, не печалилась, не говорила ничего неожиданного. Короче, не имела лица.

После войны Ольга Константиновна смогла убедиться в правильности своей позиции. В сорок шестом году то, что писалось как дневник, без особых проблем увидело свет. Теперь это была повесть «Песнь о жизни».

Если сравнить дневник с публикацией, то сразу видно, что редакции почти не было. Прибавились запятые и тире, но текст остался без изменений. Так что зря Ольга Константиновна нервничала. Все, о чем ее могли попросить, она сделала заранее.

Если бы все авторы были такие, как бы это радовало издательства! Напишешь что-то лишнее и сам это вычеркиваешь. Не ждешь, когда редактор скажет как-нибудь так: «Что ж, вы, мил человек! Это вам не „Жизнь и знание“, сейчас все стало намного строже».

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

«Странные сближенья»

Нам придется вернуться далеко назад. Ведь это знакомство связывает много десятилетий и образует своего рода сюжет.

Впрочем, все это вы уже знаете. Когда Громозова служила в книжной лавке, с ней познакомился один покупатель. Нет, ничего личного. Интерес был скорее научный. Посетителя интересовали человеческие типы — как сами по себе, так и в разных сочетаниях.

Лет им было одинаково, но они называли друг друга по имени-отчеству. Держали дистанцию. Если Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич (а это был он) покидал Питер, дистанция увеличивалась и исследование продолжалось в форме переписки.

Вот какие последствия имела его фраза: «У вас есть последняя книга Горького?» — и ее ответ: «Книги нет, но он сам только что заходил».

Сложно сказать, что к его опытам прибавила Громозова, но ее в нем привлекало любопытство. Не зря Бонч любил путешествовать. Однажды его занесло на другую сторону земного шара — когда духоборы переезжали в Америку, он к ним присоединился.

В его проектах была не только практическая задача, но высший смысл. Ему хотелось понять, что происходит при умножении одного на множество. Вариантов тут сколько угодно — от муравья в муравейнике до нас с вами в разного рода коллективах.

Института Бонч не окончил. Ему хотелось не только учиться, но самому делать выводы. Ведь студенчество — это тоже сообщество. Жаль, заняться этой темой не удалось. Постоянно что-то отвлекало: сперва он распространял нелегальщину, а потом за это сидел в тюрьме.

От духоборов и студентов Владимир Дмитриевич перешел к истории партии. Все это были варианты секты. Да и методы изучения были схожи. Он начинал с «полевого исследования» — искал единомышленников, принимал решения. Когда видел, что материала хватает, писал статью или книгу.

На главные роли не претендовал. Это значило бы сузить кругозор. Ученый должен видеть ситуацию не в какой-то ее части, а целиком. Все же главным для себя он считал не карьеру, а погружение вглубь.

Так возникла своего рода коллекция. Кто-то собирает марки и прочую мелочовку, а Бонч разного рода сведения. Кроме итогов научных штудий, он записывал фамилии и адреса. Первое имело отношение к текущим задачам, а второе хранилось впрок. Кто знает, что и когда пригодится.

Мы уже говорили, как очередь дошла до Громозовой. Возглавив «Жизнь и знание», Бонч поставил ее на «хозяйство». Через пару месяцев ей поручали не только продажи, но подготовку книг.

Самым насыщенным оказалось время после революции. В общем-то, для того она и делалась. Он стал управляющим делами Совета Народных Комиссаров, а ей доверили что-то похожее в масштабах Питера. Теперь она ведала книжными складами и библиотеками домов отдыха.

Вскоре мы продолжим с этого места, а пока немного уйдем в сторону. Нельзя же все время говорить об одном. Иногда автору и читателю следует переключаться: посмотреть в окно или выпить чайку.

Много лет подруги не пересекались, а вдруг встретились. Произошло это лет через десять после смерти Елены Генриховны. О Гуро мы не можем ничего знать, а Громозова подумала о бумеранге. Вот он растворяется вдаль, а затем летит обратно.

Если к домам отдыха сейчас имела отношение Ольга Константиновна, то в те времена, когда они назывались санаториями, тут отметилась Гуро. В том и другом случае участие жен Матюшина связано с распространением книг.

«Шарманка» вышла в шестом году. Автору она принесла одни слезы. Не купили ни одного экземпляра. Тогда Гуро по-своему распорядилась тиражом. Как сказано: «Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе».

Всякий текст — своего рода письмо. Главное — отправить его по верному адресу. Ей представилось, как отдыхающие смотрят на залив, слушают, как «тихо гнутя оголенные березы», и об этом читают в книге.

Елена Генриховна разослала «Шарманку» по санаториям. Мол, если вам не помогли процедуры, попробуйте эти рассказы. Ощутите их ритм и постарайтесь ему следовать. Может, научитесь жить подробнее? Быть внимательней к переменам внутри и вокруг.

К середине двадцатых годов количество этих книг в библиотеках уменьшилось. Кое-что умыкнули, что-то развеяло революционными ветрами. Впрочем, того, что осталось, оказалось достаточно для встречи.

Представляешь, как на правах начальницы Громозова спрашивает: «А что у нас с дореволюционными изданиями?», а ей отвечают, что все изъяли и оставили только Гуро. Все же на всех экземплярах она расписалась. Да и написано хорошо. Весной нам всегда вспоминается, как «расцвели под окошком пушистые одуванчики».

Бонч-Бруевич до и после войны

После этой истории, которая должна вам заменить глоток чая, вернемся к нашему рассказу. Казалось бы, Бонч достиг всего. Осталось дожидаться старости и уйти на покой. В другую эпоху так бы и было, но сейчас все постоянно менялось. Вчера он заседал в Кремле, а сегодня месил грязь в резиновых сапогах.

Арест был бы куда понятнее, но случилось нечто куда более нетривиальное. В конце двадцатых его назначили директором подмосковного колхоза «Лесная поляна».

Такова участь солдата партии. Куда тебя посылают, туда ты и направляешься. Единственное, что может быть полезно тебе лично, это то, что ты утверждаешься в своих теориях. Воочию видишь, что компактные поселения существуют так же, как секта и партия.

На глобальные темы Бонч размышлял в свободное время, а в основном работа была практическая. Возглавляемый им колхоз поставлял продукты членам правительства.

Понятно, когда отвечать «за кухню» поручают чревоугоднику, но новый директор был безразличен к еде. Что-то перехватит по дороге и целый день сыт. Правда, при чем тут он? Его исследования подтверждали, что победа обычно достается коллективу. Отдельный человек, не исключая его самого, вряд ли чего-то добьется.

Эта деятельность сильно его изменила. Внешне Бонч не отличался от местных жителей: лицо загорело, борода выросла еще больше. Так что в эту роль он вжился до конца.

Вряд ли ему досаждала эта чересполосица. Как говорилось, его отличала склонность к переменам. В любом повороте он находил что-то для себя привлекательное.

Всякое полученное им задание Бонч считал очередным «делом» Совета Народных Комиссаров. Недавно он ведал всеми «делами», а сейчас ему предлагали работу на конкретных участках.

То, как Владимир Дмитриевич справился со своей задачей, не прошло мимо тех, от кого зависели его перемещения по карьерной лестнице. Было решено, что достаточно ему ходить в резиновых сапогах. После этого испытания у него есть право на кабинет в Москве и письменный стол, заваленный книгами и бумагами.

В тридцать третьем году Бонч вернулся в Москву. Здесь ему поручили создать первый в стране Литературный музей.

О том, что такое музей, он понял не сразу. Когда разобрался, буквально воспарил. Помимо текущих дел, тут были такие проблемы, которые напрямую связаны с будущим.

Известно, что будущее — понятие растяжимое. Чеховский герой говорил про «сто двести лет». Впрочем, дело не в том, когда это может случиться. Главное — знать, что про тебя скажут: «Владимир Дмитриевич из тех немногих, кто не разбрасывает, а собирает».

Бонч и литература будущего

Как выяснилось, музей тоже может стать площадкой опытов. Правда, музейщики больше похожи не на партийцев, а на сектантов. Обычно это тихие малоразговорчивые женщины. Жизнь среди экспонатов им привычней пребывания в людных местах.

В колхозе Бонча окружали немереные просторы, а здесь были теснота и притусшенный свет.

Рукописи хранились в тяжелых многоэтажных шкафах. Чтобы какую-то из них получить, надо заполнить специальную бумагу. Порой вместо оригинала предлагают микрофильм.

Среди героев архива есть избранники и парии. Вот Лев Толстой написал на листочке: «Буду в шесть». Этот миг его жизни помещен в папку и будет тут храниться всегда. К париям пиетета нет. Особое недоверие вызывают те, кто, по словам Горького, принадлежал к «самому позорному десятилетию русской интеллигенции».

Казалось бы, так и надо продолжать. Классиков вроде Толстого привечаешь, а к авторам Серебряного века относишься избирательно. Когда видишь, что их тексты не опубликованы, разводишь руками. Мол, музей — учреждение государственное, и мы не можем покупать черновики.

Надо сказать, Бонч всегда делал то, что предписано его должностями. В этом смысле его деятельность в Кремле не очень отличалась от работы в коровниках.

За это Владимир Дмитриевич был на хорошем счету. Ни разу не подвел. Уж как далека от него была жизнь в колхозе, он и тут справился, не ударил лицом в грязь.

Тем удивительней, что сейчас он поступил не как положено, а так, как считал нужным. Если бы его планы раскрылись, не быть бы ему больше начальником. Уберегло его только то, что замысел был далеко идущий. Что все это значило, стало ясно только после его ухода.

Рукописи рубежа веков считались недостойными фондов, а он начал их собирать. Прежде всего его интересовало то, что не издано и было отвергнуто цензурой.

Так возникал контур еще одной литературы. Чем виднее становилась подводная часть айсберга, тем больше было понятно о той, что вышла на поверхность.

Не вспоминалась ли Бончу знакомая ему жизнь сектантов? Чем отдел рукописей уступает схрону в лесу? Известность среди единоверцев знанию двух-трех сотрудников?

Конечно, у Владимира Дмитриевича была ясная цель. Он руководствовался уверенностью, что пройдет время, и последние станут первыми.

Как видно, он представлял себе это так, как это случилось уже на нашей памяти. Однажды дверцы шкафов радостно распахнулись, и в золотые кладовые музея пришли издатели. Того, что они тут нашли, хватило сперва лет на тридцать, а затем навсегда.

Скрытое и явное

Одной из тех, кого Бонч взял под защиту, была Елена Гуро. О ней давно не вспоминали, и он обязан был проявить внимание. Через много лет начнут искать ее тексты и с удивлением обнаружат, что ничего не пропало. Могло оказаться в печке или на помойке, но он вовремя вмешался.

Сперва надо было текстами обзавестись. Для этого следовало возобновить переписку со старой знакомой. Когда между ними опять завяжется разговор, он поинтересуется: не хотела бы она расстаться с рукописями?

Вскоре общение возобновилось. Как и прежде, обсуждали не только здоровье и погоду, но нечто большее. Пару раз едва не поссорились. Уж очень по-разному они думали. Громозова в своих взглядах была категорична, а Бонч настаивал на золотой середине.

Как мы помним, Гуро не интересовал читатель, а Ольга Константиновна считала законченным только опубликованное. Признавая правоту обеих позиций, Владимир Дмитриевич предлагал их объединить. Писать то, что хочется, а печатать то, что возможно.

«Вам надо писать и писать, — обращался к ней Бонч-Бруевич, — писать всюю, дав полную волю и сознательному, и подсознательному, писать так, как хочется, писать всю правду жизни, которую вы пережили во время блокады». Затем следует объяснение, как лучше соединить необходимость зарабатывать и стремление к правде. «Имейте хоть один экземпляр рукописи (а лучше два) совершенно полный, Ваш экземпляр, без всякого вмешательства редакторов, горлитов и прочих современных цензоров».

Словом, Бонч советовал иметь в виду два адреса. Пусть вашу рукопись искорежит редактор, вам не следует расстраиваться. Ведь полный вариант сохранится в архиве и когда-нибудь будет опубликован.

Теперь Бонч и жил так. Соединял несоединимое. Был директором музея и имел отдельную точку зрения. Даже способствовал тому, что начальство никак не могло поддержать.

Пока власти не очень вникали, его план осуществлялся. Помешали личные обстоятельства. Правда, что значит личные? Если расстреляли зятя, а дочке дали семь лет тюрьмы, то это факт не только твоей биографии.

Ко всему прочему прибавились проблемы здоровья. Коллегам на это не пожалуешься, но от Громозовой у него нет секретов. Все же сорок лет знакомства. К тому же они дожили до такого возраста, когда не стыдно говорить о болезнях.

Почти в каждом письме Бонч сообщает, что лучше ему не становится. Воспаления легких одно за другим. Тут поневоле разуверишься в материализме. Даже утверждение, что «дважды два — четыре», уже не кажется таким убедительным.

Ольга Константиновна помнила о своем участии в спиритических сеансах. Поэтому не удивилась, что он обращается к своим легким. Вернее, через них просит высший разум: повремените! У меня есть еще много дел!

В войну о Бонче то ли забыли, то ли решили не трогать, и он продолжал работать в Москве. Зато в сорок пятом, победном, о нем вспомнили. Так он оказался в Ленинграде.

Как мы уже поняли, места работы Бонч не выбирал. Впрочем, дело не в должностях, а в идеях. Сперва он отстаивал правоту коллектива, а потом личные усилия. Эта, вторая, мысль подвигла его спасти рукописи Серебряного века.

Теперь его назначили директором Музея истории религии и атеизма. Конечно, иконы прочнее бумаги, но горят не хуже. Так что помощь Бонча оказалась своевременной. Много из того, что могло пропасть, ему удалось сохранить.

Здоровья хватило ненадолго. Впрочем, Сталина он пережил. Поначалу было неясно, чья возьмет. В последние годы он ощущал некоторую растерянность. Главный человек страны умер, но его возвращение было возможно.

Что касается его плана, то мы все уже знаем. Владимир Дмитриевич умер в июле пятьдесят пятого года, а лет через пять в фондах стало тесно от посетителей. Сюда пришли публикаторы за прозой и стихами.

Это и была отложенная победа Бонча. Начавшееся таяние происходило неравномерно. Тут снега не было, а здесь оставались проплешины... Все говорило о том, что весна приблизилась, но еще не победила зиму.

Кажется, не в эту, а в следующую оттепель заговорили об «уровне правды». Каждое новое имя повышало его уровень, но картина все равно оставалась неполной. Если это так, то правы все. Бонч, который готовил перемены, и Громозова, которая в них не верила.

Как мы знаем, у Ольги Константиновны тоже был план, похожий на бончевский. О правде она думала меньше всего, но музей ей хотелось создать. В конце концов ничего не вышло. Она опять убедилась, что надежды питают юношей, а стариков только разочаровывают.

К тем, кто по-своему прав, следует добавить Матюшина. Его выводы были не практическими, как у Бонча и Громозовой, а имели глобальный смысл.

Как говорилось, Михаил Васильевич верил в естественный ход вещей. В этом смысле история не отличается от природы. Если природа вечно возрождается, то осуществится и задуманное людьми. Вряд ли мы сможем дожить, но это безусловно будет так.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Громозова говорит правду

Громозова — и вдова Матюшина, и подруга футуристов, и не последний человек следующей эпохи. Можно было выбрать что-то одно, но она не спешила. Старалась использовать все возможности.

У нее на стенах по-прежнему работы Матюшина. Рядом с его пейзажем с двумя одинокими деревьями — копия «Ленина за работой» Исаака Бродского. Непонятно, как эти вещи могут уживаться, но она не видела тут противоречия.

Миновала эпоха, когда творчество было центром всего. Сейчас оно ни на что такое не претендует. Обычно его используют в прикладных целях, применительно к текущему дню.

Вот о чем эта картина Бродского. Когда происходит что-то неприятное, она ее успокаивает. Становится ясно, что есть вопросы поважнее искусства. Это о них за небольшим столиком вождь пишет статью.

Вдохновляющий пример имеет значение, но что он без помощи разных людей? После того как она осознала себя автором, у нее стали бывать писатели. Для них она была не вдова Матюшина, а такой же литератор, как они сами.

Среди тех, кто ей симпатизировал, выделялись Александр Прокофьев и Всеволод Кочетов. Бывали фигуры помельче. Впрочем, Ольга Константиновна привечала всех. Бывает, человек вроде ненужный, а глядишь, и к нему нашлось дело.

Вот хотя бы такой пример. Для чего среди ее «контактов» оказался литературовед Александр Дымшиц? Впрочем, а почему нет? Лучше дружить с такими рьяными критиками. Вряд ли он будет ее хвалить, но точно не станет ругать.

Всякий раз новую книгу Громозова отправляла Кочетову, Прокофьеву, Дымшицу. После двух-трех недель ожидания приходили благодарственные письма.

Дымшиц был слишком занят, чтобы углубляться в ее тексты, но писал неизменно радушно: «Хочу от всей души поздравить Вас, пожелать Вам и впредь той душевной силы и бодрости, которая вот уже много лет радует Ваших читателей и Ваших друзей». Заканчивалось письмо пожеланием «всего-всего». Пожалуй, только в этом удвоении можно расслышать живую интонацию.

Однажды Громозова объяснила свое поведение. Свои чувства она привыкла скрывать, а тут разоткровенничалась. Так в разговоре со случайным попутчиком выговариваешь все, о чем никогда не говорил вслух.

Может, потому Ольга Константиновна изменила своим правилам, что гость напомнил ей прежних приятелей? С ее зрением разглядеть его было трудно, но она доисочинила. Ясно представились длинные волосы и художническая кофта.

Как выяснилось, путь Сергея Шеффа (так звали гостя) был такой же путаный, как у знакомых ее юности. Учился в Академии художеств, работал дизайнером в порту, печатался в самиздатских журналах под псевдонимом «У. Истоков». Писал об иконе и сам пытался что-то вроде иконы создать. Тут и начинается его расхождение с футуристами. Если те богоборствовали и даже богохульничали, то он был человеком верующим.

Свое представление о Боге Шефф воплощал в абстракции. Ведь если Бога мы не видим, а ощущаем, то какая может быть конкретика?

Обсуждали людей матюшинского круга. «Какое-то проклятие на них, — сказала Громозова. — Откуда оно взялось? Только потому, что левые!» Собеседник решил, что его причислили к проклинаящим, и буквально вскричал: «Мы тоже левые».

Ольга Константиновна взглянула на него сочувственно. Мол, откуда тебе это знать, дурачок? Чтобы тебя забыли, надо сначала стать знаменитостью.

Все это посетитель потом записал. Если бы она знала, что обращается к будущему, то была бы осторожней. Впрочем, как тут остановишься? Когда заходит речь об обидах, трудно переключиться на другую тему.

Кажется, она сама заговорила о наследстве. Даже не представить, что такое возможно. Случилось это не в запретительные тридцатые, а в обнадеживающие пятидесятые. Обиднее всего, что в этой истории участвовал Русский музей. Хоженный-перехоженный, выученный наизусть, родной дом всех питерских живописцев.

Громозова передала музею картины Матюшина, Гуро и Малевича. Дар приняли с благодарностью. О том, что работы выставят, не было речи, но изменение статуса обещали. Все же одно дело внимание одинокой женщины, а другое забота государства.

Какое-то время ее подарки существовали на равных с холстами Репина и Левитана. С них стирали пыль, беспокоились о состоянии красочных поверхностей. Все бы так и продолжалось, если бы не жалоба. Неизвестный автор интересовался: зачем хранить то, что давно отвергнуто публикой и критикой?

Обычно такие обращения предшествуют появлению комиссии. Так было и на этот раз. Ждали, что последуют суровые выводы, но почему-то обошлось. Было решено картины вернуть дарительнице.

Не верите? Тогда предоставим слово Громозовой. Интересно, дрогнул ли в эти минуты ее голос? Возможно, что нет. Когда столько лет живешь на свете, уже ничему не удивляешься.

«В 52-м году приезжает грузовик, — рассказывала Ольга Константиновна, — и все выгрузили и свалили здесь. Я старая, потеряла зрение, дом ветхий. Как-то расставила картины, где смогла».

Громозова хотела жаловаться на шофера, но потом передумала. Для слабовидящей он — фигура несуществующая. Шум она услышала, а его не разглядела. Поэтому вполне могла обвинять не человека, а машину.

На этом успокоилась. Если в этой истории нет конкретных людей, надо искать естественные причины. Так ей некого было обвинить за жучков в деревянных скульптурах мужа. Уж как ей нравились эти вещи, пришлось отправить их в печьку.

Разве в этом нет символизма? Кажется, искусство авангарда проходило полный цикл. Оно начинало с восхищения и признания, а заканчивало если не в огне, то сваленным на земле.

Что-то такое происходило и в литературе. На место одних приходили другие. Самые благополучные из них носили костюмы с галстуками, а кое-кто обзавелся животами. Некоторые выпустили по собранию сочинений, что еще больше подчеркивало их вес.

Разговоры писателей отличались от того, о чем беседовали матюшинцы. Обсуждали, что одного издали, а книга другого на подходе. Конечно, не забывали о себе. Если кто закончил роман или поэму, непременно читали отрывки.

Если пишущих и рисующих позвать вместе, то это будет похоже на встречу дальтоникиков. Одни на красное скажут зеленое, а другие зеленое назовут синим.

К тем, кто не понимал живописи, Матюшин был очень строг. В этом смысле Громозова была снисходительней. Она сама видела плохо и позволяла это другим. К тому же теперь выраженное словами было ей важнее того, что говорят краски и цвет.

Прокофьев

Любимый гость Громозовой — Александр Прокофьев. С утра он решал разные вопросы, а вечером имел право отдохнуть. За день ему так надоедала современность, что он был рад переключиться на прошлое.

Если в настоящем он знал если не все, то очень многое, то в прошлом у него были пробелы. Как бы ему хотелось поговорить с Маяковским, но эта честь досталась не ему, а Громозовой. В те годы, когда она приобщалась к футуризму, он был еще далек от литературы.

Для Александра Андреевича все начиналось с революции. В этом смысле он был идеальным советским автором.

Сперва Прокофьев служил оперуполномоченным НКВД, и если что-то писал, то протоколы допросов. Да и другие его обязанности были не более возвышенными. Впрочем, именно тогда он заинтересовался книгами. Бывало, разглядывает библиотеку арестованного, а про себя думает: вот бы это почитать!

Так он познакомился с современной поэзией. Сам удивился, когда попробовал себя на этой стезе, и понял, что получается.

К новым целям Прокофьев отнесся по-военному четко. Обычно начинающие мечутся между разными объединениями, а он определился сразу. Стал членом группы «Резец» и продержался в ней вплоть до образования Союза писателей.

В символисты и футуристы брали по таланту, а участников этого объединения отличали возраст и происхождение. Всем было чуть за двадцать, многие жили в деревне, а потом работали на фабрике. Ну и манеры были соответствующие. В этом кругу не миндальничали, а сразу давали отпор.

Когда Ольга Константиновна познакомилась с Прокофьевым, о белобрысом паренке из деревни Кобона уже ничто не напоминало. Зачем это первому секретарю? Да и в жизни есть своя логика: в юности куролесишь и выпускаешь пар, а в зрелости обретаешь степенность.

Правда, взгляд был тот же, из его прошлого. Иногда так посмотрит на коллегу, что самый непричастный из них почувствует себя виновато.

Тогда же Александр Андреевич научился различать своих и чужих. Поэтому всю жизнь вроде как раздваивался. Мог быть грозным — и компанейским. В первом случае он принимал посетителей, а во втором проводил время с друзьями.

Все-таки белобрысый пацан был жив. Не случайно в его стихах слышались любимые с детства песни. Он и сам иногда пел. Чаше всего под рюмочку в компании с земляками. Так что они не просто пели, а вспоминали свою юность.

Редактор его последней книги тоже был с Ладоги. Когда им надоедало обсуждать пропущенные запятые, они переходили к более важным темам. Например, Прокофьев говорил, что он отчитал в газете Виктора Соснору, а сам от его влияния не избавился.

— Тебе не кажется, что у меня вышло слишком соснористо? — спрашивал Прокофьев.

Зачем Александр Андреевич это писал? Потому что начальник должен вразумлять и указывать? Так он обращался не только к читателям и коллегам, но и к себе: мол, не видишь разве, что молодой человек думает «только об эффектной фразе и бьющем в нос образе»?

Прежде примерно так говорили о футуристах. Может, не доходило до таких выражений, но носы, выкрашенные серебрянкой, скорее всего, упоминались.

Как видно, тут своего рода цепочка. Непонятно, кто был первым — Громозова или Соснора? Ведь они оба связаны с новой поэзией. Только ее футуризм стал прошлым, а его рождался сейчас.

Из людей двадцатых годов Соснора лично знал Асеева и Лилию Брик, но это время воспринимал как родное. Не случайно он очень ценил прозу Гуро. Говорил, что это немного скучно, но к прочтению обязательно.

Одно дело к людям прошлой эпохи относиться как к современникам, а другое прожить с ними половину жизни. Громозова не относилась, а прожила. Тем оправданней ее скепсис. Она видела, что теперь футуристы стали кем-то вроде Третьяковского с Сумароковым. Что-то было когда-то, а что именно, знают специалисты.

Зато Прокофьев был и есть. Он весело смеялся, нелепо взмахивал руками, легко и с удовольствием выпивал. Бурлюк и Крученых выпали из современной литературы, а он занимал в ней одно из главных мест. Как по должности, так и по своему значению.

Громозовой захотелось обозначить переменную. Показать, что она не отрекается от того, что было, но понимает, что двадцатые годы закончились. Уход Матюшина и Малевича подвел под ними черту.

Прежде она приходила к Прокофьеву с тортом, а сейчас принесла нечто более долговечное. Положишь на ладонь и сразу чувствуешь тяжесть. Дело не только в весе, но в том, что называют грузом десятилетий.

Это была железная пепельница в виде галоши. Представьте, собрались участники «Садка судей». Обсуждают, что хорошо бы опубликовать в сборнике. Поговорили о тех, кого нет, и перешли к присутствующим. Чтобы никого не обидеть, решили обойтись без лишних слов.

Происходило это так. Один из гостей читает стихи, и пепельница направляется в его сторону. В своих темных глубинах несет грустную весть. «Извини, друг, — вот что это обозначало, — но твой текст не пойдет».

Так утилитарная железяка стала вестником. С характером совсем не нордическим, а вполне боевым. Было видно, что «гроза поэтов», как назвала ее Гуро, не остановится ни перед чем.

Прокофьева не представить в желтой кофте. Только в пиджаке и, конечно, при должности. При этом пепельница досталась ему, а не Асееву, дорожившему своим прошлым футуриста, или тому же Сосноре, футуристом себя ощущавшим.

Выбор Громозовой был связан именно с непохожестью. У кого больше прав на пепельницу, как не у того, кто воплощает новое время? Так что это не просто подарок, а подношение. «Ваша взяла, уважаемый хан, — примерно так говорила она. — Хочу присовокупить к вашей победе сто ковров и десяток слитков золота».

Вот они с Прокофьевым на фото, сделанном на его даче. Обычно поэт суров и значителен, а тут улыбается во весь рот. Она тоже смотрит по-доброму. У каждого в глазах читается что-то вроде: «Мы одной крови — ты и я».

Так завершилась судьба пепельницы. Для нее началось время дожития. Теперь это был не гордый корабль, рассекающий волны, а лишь предмет антиквариата.

Иногда ей удавалось отличиться. Права решающего голоса она лишилась, но на внимание могла рассчитывать. Когда к Прокофьеву приходили гости, это был главный аттракцион. Хозяин дома рассказывал ее историю, а потом все прямо рвались ощутить себя Хлебниковым или Гуро.

В эти минуты в железной галоше просыпалась заснувшая было энергия. Как лихо, виляя боками, она двигалась по столу! Правда, сейчас ей было не на кого указывать. Выбор был давно сделан и от присутствующих не зависел.

Кочетов

Кроме Прокофьева, Ольге Константиновне симпатизировал Кочетов. Отношения у них были не такие близкие, но надежные и длительные.

Как и Александр Андреевич, Всеволод Анисимович был мэтр. С пятьдесят пятого года он уже не питерское, а московское начальство. Хотя теперь забот у него стало больше, они постоянно переписывались.

Бывает, человек достиг всего, а прошлое из него не выветрилось. По давней привычке он пишет на обрывках бумаги. Тем самым признает, что согласен на малое и ни на что значительное не претендует.

У Кочетова, как у гоголевского Собакевича, все было большое. Даже величина листа и почерк говорили: «Я — Кочетов. Известный писатель и лауреат».

Вот Всеволод Анисимович поздравляет ее с книгой. Начинает, впрочем, с себя. Считает нужным рассказать о том, что он делал в промежутке между этим и предыдущим письмом.

Каково Громозовой сидеть почти взаперти и при этом читать: «Возвратился после долгих странствий по Донбассу и Кавказу...» Видно, он писал это не просто так. Тот, кому позволены такие поездки, разрешено все. Даже писать огромными буквами на больших листах.

После этого пассажа Всеволод Анисимович вернулся к Громозовой, а потом опять написал о себе. Поэтому фраза получилась крученая. Уж очень многое ему хотелось в нее вместить.

Как связать ощущение своей миссии с положенной нашему человеку скромностью? Напиши Кочетов так от себя, это было бы странно. Поэтому к своему мнению он присоединил всех коллег по цеху.

«Более или менее талантливое писателя, — пишет Всеволод Анисимович, — радуется не только выход в свет его собственной книги, но и выход в свет книги его товарища по труду, по служению».

Трудно далась эта фраза. Сперва написал: «талантливое», но подумал, что это выглядит как похвальба. Решил, что лучше не настаивать. Зато в противовес началу усилил финал. К обыденному «по труду» прибавил: «служению».

Тут нет обычной для Кочетова нетерпимости. Напротив, чувствуется симпатия. Правда, тон взят такой, словно это не она, а он старше ее на двадцать пять лет.

Видно, Всеволод Анисимович считал, что на сей раз разница в возрасте отменяется. Ведь Громозова только вступает в литературу, а он своими изданиями уже заполнил не одну полку.

Есть еще одно подтверждение его отношения к себе. Такие люди не любят слушать, а предпочитают говорить сами. Вот бы ему спросить о своих романах, но, кажется, он знает, каким будет ответ.

К самоуважению прибавим понимание своих обстоятельств. Сложно почти классику ожидать правды. Может, он и рад был услышать честное мнение, но критики куда-то испарились. Тут как в картах: если ты туз, то конкурентов у тебя нет.

Стейнбек

В пятидесятые такого еще не было, а в шестидесятые — пожалуйста. Из Союза писателей звонят не только из-за собраний и взносов, а потому, что приехал иностранный гость. Все, что можно, он уже видел, и теперь нужно что-то эдакое. Почему бы за чаем с тортом не приобщить его к истории футуризма?

Громозова для этого подходила идеально. Она ведь тоже достопримечательность. С Медным всадником не смог поговорить даже бедный Евгений, а она рассказывала с удовольствием. Больше всего было историй о работе в подполье и друзьях мужа.

Итак, сперва солирует Ольга Константиновна, затем все переключаются на папки с рисунками. Эти моменты самые насыщенные. Все молчат, и только иногда у кого-то вырывается: «Их время придет!»

Похожие чувства посещают в музее. Только что жизнь кипела, а вдруг останавливается, и ты ее видишь, словно через стекло.

Самый большой успех Ольги Константиновны в новом для нее жанре был связан с приездом Джона Стейнбека в октябре шестьдесят третьего года.

За год до этого Стейнбек получил Нобелевскую премию. Так что волнения были нешуточные. Очень хотелось его порадовать, и было неясно, чего от него ждать.

В сорок седьмом году писатель впервые побывал в СССР, а потом выпустил ехидный «Русский дневник». Книгу не осудили, но издавать не стали. Чтобы сейчас он не написал что-то подобное, было решено больше водить его по музеям и меньше знакомить с людьми.

Стейнбек восхищался и терпел. Наконец не выдержал и потребовал живого общения. Все же романист любит ушами. Кто может знать, какие встречи и разговоры будут ему полезны.

Повар знает поваров, а сантехник сантехников. Если писателю нужны контакты, скорее всего, это будут писатели. Стейнбека возили к Симонову и Эренбургу. Не по-

лучилось только однажды. Сперва ему объяснили, что Ахматова болеет, а потом, что у нее много работы.

Перед всеми, с кем он встречался, у Громозовой было преимущество. Не все, кто связан с историей, живут там, где эта история совершалась.

Когда нобелиат оказался на Песочной, его обычной отстраненности как не бывало. Он сразу почувствовал себя тут не экскурсантом, а своим человеком.

Представьте, что Хлебников взял сушку и покрутил на пальце. Вот и Стейнбек сделал так. Правда, его спутники вспомнили не знакомых Матюшина, а более близкий им хулахуп. В это время круг из пластмассы только входил в моду.

Американца интересовало все. Особенно долго обсуждали стулья. Не потому, что они особенные, а из-за того, кто на них сидел. Когда Громозова называла фамилии, Стейнбек поевживался. Словно чувствовал ветерок из минувших эпох.

С автором «Гроздьев гнева» пришли Прокофьев и переводчик. Первый как коллега с коллегой и даже как равный с равным, а второй еще и по обязанности. Каждый день он сообщал куда надо, где побывали и о чем говорили.

В будущем переводчик станет человеком из телевизора. Сейчас не представить, что когда-то он ездил в автобусах и стоял в очередях. Пожалуй, я не назову его имени. Ведь это сильно уведет нас в сторону.

Итак, все сидят за столом и оживленно беседуют. Показывают, что для них нет запрещенных тем.

Наверное, Прокофьеву это давалось непросто. Для таких разговоров он был слишком тучен. С его комплекцией лучше сидеть в президиуме, а не перескакивать с темы на тему.

Зато Громозовой это давалось легко. Выбор был велик — от друзей дома до Бонча и Марии Ульяновой. В конце концов остановились на футуристах. Все прочее Стейнбека не очень интересовало.

О том, какую лучше занять позицию, с Ольгой Константиновной обсуждали. Решили перевести тему в философский план. Мол, когда-то левые были настоящим, а сейчас стали прошлым. Зачем противиться переменам? Даже она, вдова Матюшина, признает их правоту.

Странное поведение для непосредственной участницы! На все это Стейнбек смотрел иронически, словно говорил: у вас своя игра, а у меня своя. Лучше крутить сушку, чем пытаться обвести гостя вокруг пальца.

У всякой игры свои правила, но американцу не всегда удавалось сориентироваться. Это в шахматах условия известны, а тут все зависит от интуиции. Вот почему он часто попадал впросак.

Однажды у него поинтересовались — какая философия ему ближе. Он подумал, что «идеалистическая» говорить нельзя, «материалистическая» странно, и ответил: «Никакая».

Спрашивающий опешил. На его лице читалось: что за люди живут на другой половине земного шара! Нет чтобы занять правильную сторону, так они наблюдают со стороны.

Зато после возвращения Стейнбек проявил смекалку. Очевидно, разговоры во время поездки для него не прошли даром. Много раз он наблюдал за тем, как разные люди уходили от ответа и запутывали следы.

Нобелиат играл в чужую игру. Да, ту самую: ««черного» и «белого» не называйте, «да» и «нет» не говорите». Он бы предпочел говорить правду, но сейчас это было невозможно.

Лучше всего это получается вроде как с сушкой на пальце. Веселье вообще привлекательно. Читатель дочитает статью и только тогда поймет, что автор не сказал почти ничего.

Так что задач было две. Надо избрать шуточный тон. Затем показать, что ты знаешь, какие произошли перемены. Прежняя власть была мрачно-насусленна, а новая оптимистична. Так и сыплет народными изречениями.

Выбор газеты так же не случаен, как и упоминание зятя редактора. Об этом говорит фото с Алексеем Аджубеем на балконе «Известий». Возможно, именно сейчас они договариваются о том, что ему следует написать.

«Дорогой редактор! Мы знаем из выступлений премьера Н. Хрущева, насколько богат русский язык идиомами и народными поговорками. Английский язык так же хорошо орнаментирован, и, я полагаю, нет ничего удивительного, что каждый язык содержит в своем арсенале формы выражения одной и той же мысли. Одна из самых правильных поговорок гласит: „Дорога в ад вымощена добрыми намерениями“... Пишу Вам потому, что я, имея самые добрые намерения, совершил ужасную ошибку, которая свидетельствует о том, что я не являюсь и не должен быть дипломатом. Она доказывает так же, что добрые намерения могут быть очень опасными...

Как вам известно во время нашего недавнего визита в СССР, мы много путешествовали, встречались с сотнями людей, и, в дополнение к хлебосольному гостеприимству многие из них открыли нам свои сердца... По возвращении я попытался отблагодарить своих хозяев и ответить на все их письма. И тут я обнаружил к своему отчаянию, что девяносто процентов моего времени стало поглощаться перепиской. Моя собственная работа, давно заброшенная, обвиняла меня».

Дальше о том, как он нашел выход: «Поскольку мне предстояло отправить много таких писем, а моя память отнюдь не энциклопедическая, я взял фамилии из списка Союза писателей, потому что, как вы помните, мы были гостями этой организации. Даже этот метод выражения моей благодарности потребовал от меня около месяца напряженных усилий. И представьте себе, я даже почувствовал себя в связи с этим добродетельным!»

Можно было попросить тех, кто сопровождал его в поездке, напомнить фамилии новых знакомых, но Стейнбек решил сократить путь и обратился в газету: «Я очень дорожу дружбой многих русских людей, с которыми я познакомился в вашей стране. Было бы очень печально, если бы некоторая бестактность с моей стороны изменила или поколебала это чувство. Мне кажется, если бы мои друзья знали о том, что случилось, они бы поняли меня, и, проявив чувство юмора, рассмеялись... Если Вы опубликуете это письмо в вашей газете, мои друзья прочтут его, поймут и простят».

Может, кому-то хватило автографа, но Громозова ждала, что нобелиат обратится к ней лично. Это значило бы, что он увез с собой образ ее дома и тех людей, с которыми тут познакомился.

На персональный привет мог рассчитывать и Прокофьев, но Стейнбек ко всем обращался одинаково. После слов «Дорогой друг» следовал текст, в котором говорилось, что мы не так уж различны. Другие важные для него мысли содержались в нобелевской речи, которая прилагалась к письму.

Следуя упомянутым правилам, писатель избегал «да» и «нет», «черного» и «белого». Вышло что-то вроде акробатического упражнения — так ловко он обходил острые углы. Даже о том, что ему особенно понравилось, он не сказал ничего.

Текст получился настолько уклончивый, что буквально нечего вычеркивать. Только одна фраза вызвала вопросы. В ней говорилось, что «дорога в ад выложена благими намерениями».

После обсуждений решили оставить. Ведь в том же абзаце автор сообщает, что больше всего ада в нем самом: «Я, имея лучшие намерения, совершил ужасную ошибку».

Затем следовал новый кульбит. Оказывается, ошибка поправима, а значит, ад он вспомнил ради красного словца. Ну и финал был соответствующий. Сама Громозова могла написать так: «Итак, я доверяю свое решение в руки газеты „Известия“».

И еще два ее гостя

Многие гости дома на Песочной известны по фамилии и в лицо, а о бабушке моего приятеля вы вряд ли слышали. Как вы помните, Ольга Константиновна немного преподавала, а у бабушки вся жизнь была в детях. Как в своих, так и в чужих. Собственных у нее было трое, а чужих не сосчитать.

Каждый год в школу на улице Маяковского принимают новых учеников. Таков круговорот ее жизни. Научит одних писать палочки, и за парты садятся другие.

Вот еще одно ее пересечение с Громозовой — Маяковский. Человек, ставший улицей в центре города, часто бывал на Песочной.

Порой не сразу понимаешь, для чего ты предназначен. В Институте иностранных языков бабушка доучилась до третьего курса. С языками у нее контакт был, а с преподавателями не очень. Если у тебя проблемы со взрослыми, то не лучше ли заняться детьми?

Так бабушка стала учительницей. Причем сразу пошла в младшие классы. Больно славный тут народ. Становясь старше, дети заимствуют у взрослых их недостатки, а пока радуются жизни и хотят все знать.

Кроме пересечений с Громозовой, есть то, что их разделяет. Откуда бабушке знать, какие страсти кипят в мире литературы? Если бы об этом писали книги, их бы читали как романы Дюма.

Можно не писать, а разыграть. Так Ольга Константиновна исполняет эти истории перед своей знакомой. При этом она помнит об известном правиле. Оно заключается в том, что округлять глаза должна не актриса, а зрительница.

Итак, одна спокойна, а другая взволнованна. Всякий раз Громозова приходит к тому, что все будет хорошо. Может, для того ей были посланы испытания, чтобы она убедилась в своих возможностях?

— Что же делать? — удивлялась бабушка.

— Ничего, справимся. — твердо отвечала Ольга Константиновна. — У меня большие связи.

Что такое «большие связи», бабушке непонятно, но ее успокаивает уверенность приятельницы. Сколько раз она убеждалась: если та за что-то берется, все получается, как надо.

К удаче надо прибавить характер. Казалось бы, с ее зрением надо больше доверять другим, но Громозова ничего не пропускает.

Вот она поучаствовала в выборе куска торта. Бабушка уже собралась положить его на тарелку, но ее знакомая воспротивилась. «Мне бы вот этот», — сказала она и показала на другой кусок.

Вряд ли это прозрение. Скорее, чутье. Способность к изменениям не противоречила ясному осознанию цели. Даже кусок торта ей нужен был не любой, а тот, что приглянулся.

Как видите, ее окружали самые разные люди. О том, что она обсуждала с Прокофьевым или бабушкой, уже говорилось. Свои разговоры были у нее и с Борисом Эндером.

В десятые годы Ольга Константиновна дружила с Гуро и Матюшиным, но все же Эндер был с ними ближе. Вы помните, что сына Елена Генриховна придумала? На ее рисунке он вышел чуть ли не копией Бориса.

Затем прошло еще несколько эпох. Труднее всего дались тридцатые годы. В это время художники образовали что-то вроде тайного общества. Рисовали в основном друг для друга. Обсудят картину с товарищем и спрячут подальше от посторонних.

Особая опасность заключалась в том, что Эндер писал абстракции. С этим всегда было непросто, а сейчас воспринималось как диверсия. Вот почему он должен был зарабатывать одним, а для души делать другое.

Начальство Эндер не рисовал. Компромисс оказался не такой обидный. Можно было не только заработать, но и кое-что посмотреть. В тридцать седьмом он оформил выставку в Париже, а в сорок девятом в Будапеште.

Казалось бы, выход найден. Для себя пиши, что хочешь, а зарабатывай эксподизайном. Это, как мы знаем, «многих славных путь». Вариант вроде не худший, но все же правильней не раздваиваться. Для этого следовало дожидаться пенсии.

Хорошо быть пенсионером. На службу ходить не надо, а деньги приходят каждый месяц. Этой суммы хватает на то, чтобы содержать семью — и делать что-то свое.

К зарабатывающим Эндер испытывал сложные чувства. Да, он тоже берет заказы, но совмещает это с тем, за что денег не платят. А если гонорары — это единственная цель? В этом он подозревает искусствоведа, задумавшего о нем статью:

«Ты знаешь, что я своего искусства не продаю, — сообщает художник Громозовой, — а он хочет писать о нас, и, конечно, продавать эти писания. Он не бескорыстен».

Вот в чем дело. Искусством можно назвать только то, что нельзя продать. Значит, его работа для выставок к творчеству отношения не имеет. Он пошел на это только для того, чтобы писать картины не на голодный желудок.

Странно объяснять это Громозовой, ведь для нее литература — это то, что публикуется. Может, потому ей надо это сказать? Пусть знает, что матюшинцы видят в картине не ее цену, а нечто посущественней.

Вспоминался такой случай. Однажды Борис с Колей Костровым гуляли в Летнем саду и вдруг видят Михаила Васильевича. Все при нем: отличный пиджак, шляпа с полями, трость с серебряным набалдашником. Если бы в сад пускали по степени ответственности месту, он был бы лучшей кандидатурой.

«Работаете?» — интересуется учитель, а ученики отвечают: «Зарабатываем». Мол, одно дело то, чем приходится заниматься, а другое то, к чему призывали вы.

Наконец Эндер — пенсионер! Теперь он будет рисовать вволю. Вот как немного для этого надо — тысяча двести рублей старыми, и можно не думать о материальном.

«Оля, я перешел с октября на пенсию... — пишет он Громозовой. — Стал свободным художником. Ничем не связан и могу приехать раньше, но хочу весной».

Гордо звучит — свободный художник! Да и возможности впечатляют. Могу, но не хочу. Сам определяю сроки и время. Следую своим желаниям, так как ничем больше не обременен.

В этом ощущении Борис прожил недолго. Уже в следующем письме сказано, что надежды не оправдались. Сумма не так велика, чтобы пренебречь заказами. Радоваться пока нечему, надо впрягаться опять. «В марте меня втянули в промышленную выставку. Хотя я и имею пенсии 1200 руб., заработать на лето не мешает».

Кстати, зачем Борис едет в Ленинград? На этот счет у него есть план. Надо повидать любимые картины в Эрмитаже и показать друзьям сделанное за последнее время.

Прежде бывшие авангардисты существовали врозь, старались не пересекаться, а теперь устраивают совместные обсуждения. Анна Лепорская хочет обсудить с Борисом Эндером его работы. Ясно, что она будет ссылаться на Малевича, а он вспоминать Матюшина.

Пятьдесят пятый год — это пока не сама «оттепель», но ее первые подступы. Можно сказать, «грачи прилетели». Опять, как в эпоху авангарда, возникает среда. Связи выходят за пределы своего круга и распространяются дальше.

«Попутной задачей у меня было, — пишет он, — ответить на просьбу Лепорской привести свои вещи для демонстрации ленинградским художникам. Ты не представляешь себе, как я был бы счастлив, если бы среди художников, которые собрались у Лепорской, была бы ты».

Не всякую вещь Пикассо Эндер признает шедевром, а Громозову называет художницей. Этот ненавистник всякой корысти сейчас настроен по-деловому. Один из показов он надеется устроить у нее дома.

«Я не знаю, как ты на это посмотришь, — пишет он, — но я посчитал бы за честь для себя, если бы второй просмотр для ленинградских художников прошел у тебя».

Ну а как иначе? Песочная — это его юность. Тут даже стены помогают. На них висят картины Гуро и Матюшина, а это почти то же, что присутствие их самих. Начинаешь сравнивать и постепенно понимаешь, что и как можно было сделать лучше.

В музее живопись и люди разделены, а тут все со всем связано. То, что смотрели, и то, о чем разговаривали. То, что ели и чем запивали. Из всего этого возникает неповторимая аура дома.

Эндеру есть что вспомнить по этому поводу. Не забыть, как во время обсуждения «Садка судей» пепельница возникала в разных концах стола. От чего-то воротила железный нос, а что-то радостно принимала.

Скорее всего, показа у Громозовой не случилось. Эту идею не осуществить без взаимности. Несколько раз Борис напоминал, но она не спешила: «Ты пишешь, что откладываешь мою выставку до осени. Буду ждать».

Как было бы хорошо, если бы это состоялось. Да еще в том пространстве, с которым столько связано. Возможно, помешала одна строчка в давнем письме Бориса. Выражая соболезнования в связи со смертью Матюшина, Эндер писал, что главной для учителя женщиной была Гуро.

«Дорогая Оля, тебе тяжело, хотя ты знаешь, что Миша уходит к Лене, и ему будет хорошо.

Мы должны друг другу помочь принять Мишино наследство и пустить его в массы. Крепись и береги свое здоровье.

Твой Борис

9 октября 10 ч. утра Москва».

Этот текст много говорит о людях, которым выпало жить в разных эпохах. От Серебряного века у Бориса вера в то, что смерти нет, а от советского времени канцелярское «пустить в массы...». От тех десятилетий, когда Громозова была женой Матюшина, — доверительная интонация и дружеское «ты».

Конечно, эту фразу Ольга Константиновна запомнила навсегда. Она стояла как кость в горле. Из нее следовало, что ей удалось скрасить жизнь мужу после ухода Гуро, и прежде, чем они встретились вновь.

Галина Гампер

Мы рассказали о людях, постоянно бывавших на Песочной, а теперь надо вспомнить об одной невстрече.

Девушка (ее звали Галя) не ходила, да и сесть могла только с чужой помощью. Когда ее мама шла в магазин, из того, что движется, в доме оставалась кошка, а из того,

что говорит, радио. Приемник не замолкал, но однажды она прислушалась. Так ей понравился голос женщины, о которой рассказывала передача.

Есть такое выражение: «идти на голос». Гале захотелось связаться с той, кому он принадлежал. Как-то сразу поверилось, что у нее получится разрешить ее проблемы.

Действительно, удивительный случай! Почти потерять зрение, но при этом не впасть в отчаяние, а каждый день садиться за письменный стол. Писать не что-то мрачно-тяжелое, а книгу об «окрыленных людях».

Галя восприняла ее рассказ как обращенный к себе. Оставалось понять: как это возможно? Целыми днями находиться дома, но при этом жить так, как не всякому зрячему удастся.

«Здоровье так ухудшилось, что уже год я не могу заниматься, читать, большую часть дня приходится ничего не делать... Я с большим, большим интересом и волнением слушала рассказ о Вашей жизни, борьбе, работе... У меня как будто силы прибавились и даже настроение стало лучше».

Жизнь, борьба, работа — это вроде как разные степени. Бывает, человек живет, но не борется или борется, но не претворяет это во что-то важное. Лишь немногим дано соединить одно с другим.

Тут нужно отступление. До этого момента автор не высовывался из-за спин героев, но сейчас придется это сделать. Странно было бы делать вид, что я тут ни при чем.

С Галей я познакомился тогда, когда мне было лет двенадцать. В это время ее уже звали Галиной Сергеевной, и она была известным поэтом. Случилось это в день ее рождения, 6 ноября.

Как я, такой маленький, попал на взрослый праздник? То ли родителям было не на кого меня оставить, то ли пришло время мне узнать, что тупиковых ситуаций не бывает.

Представьте не такую большую комнату. Если бы я знал, что Мандельштам выделял «читателя, советчика, врача», я бы об этом вспомнил. Среди гостей преобладали поэты, но были и читатели. Из них двое или трое оказались врачами. В их советах именинница нуждалась не меньше, чем в мнениях о своих стихах.

Галя, Галина Сергеевна, или Галина Гампер, занимала место во главе стола. При этом так прямо вытягивала спину, словно сидела не в инвалидном кресле, а на троне.

Иные королевы изредка кивают в знак одобрения, но моя новая знакомая что-то весело говорила. Ее подданные улавливали настроение и старались не отставать.

Едва ли не все были таланты, а потому шум стоял страшный. Нонна Слепакова пела, Александр Кушнер и Виктор Соснора читали стихи... Остальные тоже не молчали и чуть что встревали с комментариями.

Все это для меня, совсем юного, стало событием. Впрочем, и через многие годы я удивлялся: откуда столько энергии? Неужели неподвижность не мешает почувствовать себя свободной?

Теперь вернемся в то время, когда она написала письмо Громозовой. Галя часами смотрела в окно, и то, что в нем «показывали», ей совсем не нравилось. Ведь в тысячный раз снег или дождь выглядят так же, как в пятисотый.

Что надо сделать для того, чтобы увидеть нечто большее? Что-то поменялось, когда она начала писать стихи. Теперь перед ней были не только крыши и серое небо, а весь божий мир.

Говорить о себе она не решалась, а потому ей потребовалась героиня. Зоя Космодемьянская в ее поэме выбрала смерть, но была полна жизни. Даже по пути к виселице видела себя бегущей, плавающей, греющейся у костра.

Мне душно, мне тесно, мне хочется жить,
Мне хочется быть молодой.
Учиться, работать, дружить и любить,
Ходить на свиданья весной.
Хочу, чтобы нас закружила с тобой
В ликующем вихре весна...

Эти неумелые строчки оправдывает одно обстоятельство. Обычно начинающие пишут о том, что не пережили, а Галя писала о себе. Вернее, о себе и о Зое. Они обе были лишены того, что для других само собой разумеется.

Галино письмо Громозова приложила к пачке с посланиями от Кочетова и Стейнбека, но в переписку не вступила. Как видно, так подумала: что лучше — начать повесть или заняться этой девушкой? — и решила, что книга важнее.

Так что ни письма, ни привета. Галя, наверное, обиделась, но не остановилась. Многие ее стихи были о том же, о чем поэма. Теперь она не писала, что ей тесно и душно, но это чувствовалось.

В шестьдесят пятом году у Гампер вышла книга «Крыши». Пусть и маленькая, размером с ладонь, но зато своя. Картинка на обложке подтверждала, что тот, кто смотрит на крыши, непременно видит небо.

Если Громозова узнала о книге, то вряд ли позвонила или написала автору. Да и что бы она сказала? Вы ко мне обращались пять лет назад. Наконец письмо дошло, и я хотела бы вам ответить.

Даже для Ольги Константиновны это было бы слишком. К тому же у юной поэтессы и без того все неплохо. Все же одно дело, когда первая книга выходит в пятьдесят, а другое в двадцать шесть.

Когда-то у Громозовой было много юных друзей. На примере школьного журнала она объясняла, что лучше не лезть на рожон. Те, кто ее послушал, не пропали, но победили те, кто решил по-своему. Не захотели писать два, а в уме держать три.

Помните Кирилла, Наташу и Галю? Они делали то, что им нравится. Кирилл не представлял себя без двукрылых, а Галя и Наташа без кисти и карандашей. Прибавьте ее знакомых десятых годов. Их будущее было туманно, но они пробивались что есть сил.

Кстати, и Матюшин начинал так. Сто раз его ждало фиаско, но потом как-то образывалось. Взять хотя бы солдатчину. Каким-то чудом построения на плацу заменили на филармонический зал. Поднимаешь голову, а огромные люстры сверкают и переливаются, как краски на холсте.

ОТСТУПЛЕНИЕ О ЗАБОТАХ МОЛОДОГО ПИСАТЕЛЯ

Письмо наверх

Нужно понять, почему Громозовой удавалось публиковаться. Как говорилось, многим она была обязана знакомым по цеху. Бывало, издательство планирует одну книгу, но тут звонит телефон. Сразу узнаваемый голос настаивает на замене, и отказать ему нельзя.

Прежде чем призвать тяжелую артиллерию, Ольга Константиновна действовала самостоятельно. Целыми днями крутила телефонный диск. Обычно помощи не предлагал никто, но советы давали с удовольствием.

Особенно ей приглянулось предложение написать в обком партии товарищу Казьмину. Говорили, что положение у него почти как у бога. Сам не пишет, наблюдает издалека и вмешивается по мере надобности.

Вот еще один жанр советской литературы: литераторы просят начальство. Громозова жаловалась, что ее повесть рекомендовал Союз писателей, а издание даже не планируется. Можно было добавить, что книга о революции мало, но она решила, что Казьмин разберется сам.

Зато о личном Ольга Константиновна написала без обиняков. У слабовидящей много разных расходов. Зрячий отдаст рубль, а она заплатит три. Так что потерь, как минимум, две. Читатель остался без нужной книги, а автор без гонорара.

«Ждать два года я не имею возможности, так как за время работы над рукописью истратила все деньги: слепому автору надо содержать не только себя, но и секретаря. Без секретаря слепой писатель работать не может».

Свою просьбу Громозова подкрепила мнением Бонч-Бруевича. Вообще-то, на переписку ссылаться не принято, но тут не было ничего личного. Только несколько слов говорили о том, что повесть не оставила его равнодушным.

«...Бонч-Бруевич, узнав, что повести... откладываются на 2 года, посоветовал мне обратиться к Вам... В своем дружеском письме от 24 апреля 1954 года В. Д. Бонч-Бруевич говорит: «Вы пишете воистину кровью сердца своего... о тех героических временах, свидетельницей и участницей которых Вы были. Изумлен, что Ваша рукопись, так хорошо написанная, имевшая хорошие рецензии, отклонена издательством. Советую Вам обратиться в обком партии к тов. Казьмину, весьма хорошему человеку. Н. Д. Казьмину скажите, что я Вас направил к нему, и передайте от меня привет».

Вот как мало тут «от себя»: «кровью сердца», «изумлен», «хорошо». Есть оценка и в наречии «весьма». Все же «весьма хороший» — это не просто «хороший». Так Бонч устанавливал дистанцию. Предупреждал, что не до конца уверен в знакомом.

Помимо Казьмина, Громозова обратилась к Кочетову. Заканчивала она прямым обращением. Вроде как брала его за пуговицу, приближалась близко и говорила: «Всеволод Анисимович, помогите найти правильный выход».

Скорее всего, Ольга Константиновна хотела сказать что-то другое, но проговорила. «Весьма» — не то чтобы хороший, а «правильный» — не самый справедливый. Она обращалась к более опытному коллеге: подскажите, как лучше прийти к цели, а конкурентов оставить позади?

Вишенка на торте

В обращении к Казьмину Громозова ставит число: «10 июня 1954 года», а затем, словно что-то вспомнив, добавляет: «Кроме того, у меня написана маленькая детская повесть „Тайна“. Заявку на нее я подала в Лениздат 24 мая 1954 года. Ответа на нее пока нет».

Так мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку... Громозова за Бонч-Бруевича, а Бонч-Бруевич за товарища Казьмина... Из Москвы за ситуацией следит Кочетов. Он прямо не участвует, но, если что, готов вмешаться.

В Смольный Громозова писала примерно то же, что Всеволоду Анисимовичу. Долго держала себя в руках, а в конце срывалась. «Положение мое, — тут она едва не переходила на крик, — становится невыносимым».

Этот выплеск говорил о том, что не меньше книжки ее беспокоят одиночество, слепота, невозможность сделать шага без чужой помощи.

Может, товарищ Казьмин ей и в этом поможет? Возьмет над ней шефство, будет называть «дорогой Ольгой Константиновной», иногда звонить по телефону? Она ему расскажет, как сложно ей жить, а в ответ услышит что-то вроде: «Не волнуйтесь. Все будет так, как вам хочется».

Эти мечты очень похожи на ее повести. Ситуации в них повторяются. Когда не справляется пожилая героиня, ей на помощь приходят комсомольцы. Бывает и наоборот. Старший товарищ дает совет, и обстоятельства меняются к лучшему.

Жаль, что жизнь сложнее литературы. Хорошо, если вышло по писаному, но это случается редко. К тому же у Казьмина есть должностные обязанности. Они четко определяют меру его участия в судьбе просителей.

Николай Дмитриевич всегда делал то, что положено. Не больше и не меньше. Поэтому он позвонил сразу в издательство. Через пару дней курьер доставил на Песочную заключение редактора. Это обозначало, что рукопись в работе и остается кое-что уточнить.

Мы еще обсудим эти претензии, а пока вернемся в Смольный. Товарищ Казьмин отвечал за весь процесс — не только за книги, но и за тех, кто их пишет. Больше всего он благоволил к тем, кто придерживается готовых схем.

Разве не ясно, что если девять раз удавалось, то получится и в десятый? Именно этим простым правилом руководствовало большинство литераторов.

Казьмин и в жизни предпочитал простые решения и кое в чем преуспел. Его дни проходили между кабинетом и домом. Иногда, правда, случались вылазки на футбол. Это все, что он позволял по части нарушения правил.

Прямо из Смольного Николай Дмитриевич собрался выйти на пенсию. Он уже представлял себя на дачной грядке, как вдруг его судьба изменилась. Кто-то замолвил за него словечко, и он оказался в Москве.

Такие перемещения просто так не случаются. Для него были уже готовы два пропуски на Старую площадь и в Кремль: он стал заведующим отделом школ ЦК КПСС и депутатом Верховного Совета.

На новых позициях Казьмин успел отличиться. Если книги Громозовой вышли в свет, то публикацию «Жизни Арсеньева» он запретил. Досталось и пьесе Шатрова «Чистые руки». Даже скрытая цитата Дзержинского о «холодной голове, горячем сердце» его с ней не примирила.

С таким рвением можно стать министром или кем повыше, но однажды везение его оставило. Неизвестно, что было сначала — директорство в музее Ленина или неожиданно открывшаяся онкология. Как бы то ни было, на новом месте его плохо запомнили. Все это время он промаялся по больницам.

Разве это не повод задуматься над тем, насколько схемы обманчивы? Много лет его жизнь была предсказуема, а вдруг такое! В считанные недели он оказался унижен, буквально распростерт. Теперь, чтобы сделать укол, у него даже не спрашивали разрешения.

Недавно Казьмин был всемогущ, а что сейчас? Чтобы сократить объяснения, вспомним «Смерть Ивана Ильича» Толстого. В этой повести говорится о том, как, приближаясь к последнему часу, герой освобождается от своих должностей.

Одно время Громозова рассчитывала на Казьмина, но он удалялся все дальше. Сперва перебрался в Москву, затем и просто исчез с радаров. Как стало ясно из некролога в «Правде», это была не отставка, а продолжительная болезнь.

Редактор читает Громозову

Как мы знаем, Гуро не стремилась публиковаться. Она считала, что читателями, как и писателями, должны быть избранные. Опасно довериться любому, кто купит журнал. Лучше он не узнает об этом тексте, чем поймет его неправильно.

Другие футуристы тоже не верили в сегодняшний успех и надеялись, что их время придет. Когда будущее наступило, выяснилось, что их не особенно ждали. Обидно, что говорить! Ты готов дальше писать «лесенкой» и без знаков препинания, а тебе указывают на дверь.

Уезжать за границу было поздно, так что вариантов было немного. Кто-то замолчал, а самые стойкие вроде Асеева и Каменского слились с фоном: стали рядовыми советскими авторами.

В пятидесятые годы ситуация изменилась. Не то чтобы поводок был больше не нужен, но строгость поумерили. Громозова это почувствовала и немного осмелела.

Редактор Гроденский тоже обновил свою палитру. Проявлялось это в разговорной интонации. Теперь замечания высказывались не директивно, а вроде как в диалоге с автором.

Отсюда прямые вопросы и обращения. Ему явно хотелось выглядеть не букой и цербером, а литератором, дающим советы коллеге.

Кстати, Гроденский не только редактировал, но издавался сам. К двум этим работам подготовился еще в юности. Начинать воспитателем и методистом, а потом стал учителем биологии. Чтобы написать книгу «1300 ударников урожая», надо было попробовать себя на всех трех поприщах.

Единственное, что вызывает симпатию в его биографии, это то, что он дружил с Бианки и написал о нем книгу. Вряд ли любимый нами с детства автор приблизил бы к себе человека, который не чувствует природу.

Итак, редактор берет неформальный тон. Все остальное в его замечаниях как обычно. Прежде всего отмечено отсутствие горизонта: если речь о трудной дороге, как можно не сказать о том, что велит идти вперед?

«Особенно важно показать, как выросли за это время герои, — писал редактор, — и для этого в завершающей части повести надо дать какой-то итог пройденного пути (то ли в размышлениях героев, то ли в авторской реплике). Ведь они будто на гору поднялись за этот период, горизонт расширился, они многое узнали, увидели, поняли. Пока в повести показано это несколько скупо — и завершено несколько блекло — без намека на продолжение».

Так редактор — с помощью вопросительных знаков и простодушных сетований — движется по тексту. Всякий раз подчеркивает, что руководствуется не мнением начальства, а знанием ситуации.

Например, по поводу фразы «Несколько дней ходила девушка по „тетям“ и „дедушкам“, но везде ей отказывали» написано: «В этом помощь комсомола? И комсомольцев?». Гроденский опять не хочет выглядеть сухарем и чуть ли не возмущается: как вы не видите, что на смену «тетям» и «дедушкам» пришла неравнодушная молодежь!

Может, это тоже «расширенное смотрение»? Как матюшинцы видели то, что справа, слева, впереди и за спиной, так редактору было открыто все. Даже о том, где ждут молодых специалистов, у него было свое мнение. «Кстати, не верю, — писал он, — что нельзя найти работу в общежитии».

Конечно, он немного наигрывает. Слишком много ему приходилось читать рукописей, сидеть на собраниях, разговаривать с авторами, чтобы входить во все тонкости. Для таких случаев у него был тон. Если говорить без ноты сомнения, ты будешь выглядеть знатоком.

В этом отличие редактора от автора. Он точно знает, что квадрат квадратный, а круг круглый. Уже не говоря о том, что все пути открыты для тех, кто хочет по ним идти. В том числе и те, что ведут в общежитие.

Так что конкретика тут ни при чем. Не проверяем же мы утверждение о том, что жизнь прекрасна, а со временем станет еще лучше. Как в приведенной фразе об общечитии, это вопрос веры.

Со всем этим Громозова согласна, но она живой человек. Поэтому ей не всегда удается соответствовать. Нет-нет, а напишет что-то не то и не так.

Все бы закончилось катастрофой, если бы редактор не вмешался. Он поднимает папек или опускает очки с переносицы, и в пошатнувшийся мир возвращается порядок.

Союзы, наречия и оговорки

Ольга Константиновна рассказывает, как в конце двадцатых ей предложили повышение. Причем не в пределах досягаемости, а в Москве. Если бы она согласилась, варианты у нее были бы не менее привлекательные, чем у товарища Казьмина.

«Я не повидалась с Надеждой Константиновной перед ее отъездом, — написала Громозова, — но в Москве она вспомнила обо мне. Года через полтора пришло официальное постановление Наркомпроса о том, что я назначаюсь заведующей Библиотечным коллектором Советского Союза. Однако, мне пришлось отказаться от приглашения Крупской».

Почему Громозова так сделала? Ответов не один, а два. Говорить прямо она не хочет, но для того и существуют союзы и наречия. Эти самые мелкие части речи редактор пропустит, а фрейдист получит пищу для размышлений.

Хотя Матюшин тут не назван, это о нем. Громозова понимала, что он не захочет жить нигде, кроме Ленинграда. Она решила, что от добра добра не ищут. Главное, что муж при ней, а в Питере у нее есть много дел.

«Я уже заведовала Петроградским отделением издательства „Коммунист“, — писала она, — и не могла уехать из Петрограда». Словом, перемены исключаются. Все «уже» у нее случилось, и это определило дальнейшую жизнь.

Если в первом ответе важно «уже», то во втором «к тому же» и «тоже»: «...вы знаете, как я люблю свое дело! — объясняет она. — Разве можно сравнить библиотечную работу с распространением книг? Ведь сейчас я могу одарить хорошей книгой человека, живущего в самом далеком, глухом, как говорил Горький, углу нашей страны... К тому же мой муж художник... Михаил Васильевич тоже увлекается своей работой».

«К тому же» и «тоже» (да еще в сочетании с «увлекается») ставят Матюшина в подчиненное положение. С этого момента начинаются сомнения. Может, зря она отказалась? Кстати, и ему Москва пошла бы на пользу. Где еще ждать внимания начальства, как не в непосредственной близости от него?

К этой теме она больше не возвращается, но волнение ее не оставляет. В одном месте она написала, что муж и жена не должны жить врозь, а в другом рассказала, как Крупская погостила у Ленина в ссылке и уехала обратно.

Другие оговорки тоже подтверждают, как все непросто. Тут даже не союзы, а нечто совсем неразличимое. Как-то Громозова сделала паузу, и помощница зафиксировала сбой ритма. Короткая фраза вошла в конфликт с длинной, но вскоре равновесие восстановилось.

Мало ли почему Ольга Константиновна задумалась? Длилось это мгновение, но стенографистка этого не пропустила.

В первом примере два ответа, а тут два вопроса. Первый связан с сестрой, руководителем психоневрологического диспансера под Вяткой: «А рассказать о ней, рассказать о человеке, который мало жил и так много сделал, — надо. Кто же напишет о ней?» А вот второй: «В 1934 году умер муж. О нем тоже необходимо написать. Но разве я,

простой книжник, могла решиться на эту работу?.. У меня даже мысли не было, что это должна сделать я».

Здесь главное — остановки. Вот она погрузилась в свои мысли, а потом двинулась дальше. Под конец отвлеклась еще раз. Оглядела свою жизнь и тяжело вздохнула.

Действительно, ох. Когда-то ее прибило к футуристам. Сперва она мало что поняла, но потом все прояснилось. Кем бы она была без Гуро и Матюшина? Как это он сказал: «Я бы ни за что на свете не поменялся ни с кем жизнью». Писать об этом она не станет, но так думать ей никто не запретит.

Киров на озере и Сталин среди ржи

Кажется, мы разобрались с текстами, а теперь надо сказать о другой ее ипостаси. Слепота не позволяла ей рисовать, но она мысленно возвращалась к живописи. В одной из своих книг даже описала идеальную картину.

Вот оно, искусство настоящего и будущего. Ни косоного и кривоного, ни квадратов и треугольников. В центре — сразу узнаваемый человек. Говоря словами песни, он «проходит как хозяин необъятной родины своей».

«Задумала картину о Кирове. Все последнее время она стоит передо мной. Чувствую, внутренне вижу каждую деталь, мечтаю на полотне запечатлеть мысль Сергея Мироновича: как хочется жить на старой земле, переделанной нами!

Вижу мыс, далеко выдающийся в большое озеро. Кончается он каменной скалой. Окруженная с трех сторон водою скала стоит, как маяк, на сине-зеленой глади озера. Каменистая подпочва, казалось, ничего не родит, кроме мелкого кустарника. Это так и было прежде. Теперь, глазам поверить трудно, — золотое поле ржи спускается с подножья скалы и уходит далеко. Это — „переделанная нами земля“. Вот здесь, на вершине, нарисовать Кирова с его солнечной улыбкой».

Такой парадный портрет. Все служит Его возвеличиванию. Даже природа существует не сама по себе, а для того, чтобы обрамить главную фигуру.

Помните, как она описывала распространение ленинских идей? Сперва подхватил один, потом другой... Так произошло и с вымечтанной ею картиной.

Это могло случиться и без ее книги. Скорее все же Федор Шурпин прочел «Песню о жизни» и вдохновился приведенным описанием.

Художник заменил озеро полем ржи, а в центр поставил другого героя. «Утро нашей родины» теперь начиналось со Сталина. На лице вождя была не «солнечная улыбка», а легкая усталость. Все говорило о том, что сделано много, но еще больше предстоит.

Можно было бы не вспоминать эту подсказку, если бы не «тайна происхождения». Шурпин совпал с Громозовой не только в середине, но и в начале пути. Футуризма в его жизни не случилось, но зато была учеба во ВХУТЕМАСе у Фалька и Штеренберга.

Когда Федор понял, что учителя его только спугают, он свернул в сторону. Его сокурсники принаравливались к новым задачам, а он уже действовал. Если хочешь отличаться, надо написать что-то вроде этого «Утра».

Существует байка о режиссере, который распределение ролей начинал так: «Наш грузовичок движется в сторону Государственной премии. Кто сядет в грузовичок?» Ошибся он только раз. Сказал о Ленинской, а ему опять дали Государственную.

Шурпину тоже досталась Государственная, а это, как говорил его коллега-лауреат, уже миллион. Правда, успех был коротким. Через пять лет умер его герой, и ему пришлось снова меняться. Он уже не ставил ни на кого конкретно, а сосредоточился на неизвестных людях. Написал «Трудовые ночи», «В гостях у колхозника» и другие холсты.

Штеренберг не дожил до завершения «Сталина во ржи», но Фальк безусловно видел картину. Если не на выставках, то на открытках. Оценил ли он как-то работу ученика — или только пожал плечами? Больно типичная вышла история. Многие тогда превращали реальность в миф.

Впрочем, что нам Шурпин, когда у нас есть Громозова. Представьте ствол, по которому прошелся рубанок, и это будет ее проза. Да и фрукты на ее акварелях кажутся крашеными. Ощущение такое, что если их надкусить, во рту останется деревянный вкус.

Интересно, что бы сказали на это Гуро и Матюшин? Вопрос совсем не фантастический. Если можно разговаривать с мертвыми, почему бы умершим не поинтересоваться, что без них делают живые.

Вот бывшие обитатели Песочной из своего времени заглядывают в чужое. Удивляются, как поздно начала Ольга. Неужто это ты, «пушковатый скромный луч мой — Олли»? В тяжеловесных фразах нет и следа прежней легкости.

Да и откуда это в ней? Прежде Громозова хорошо готовила, а сложные смеси вроде живописи ей были неинтересны. Теперь она насочиняла такого, что ее фото можно помещать на обложку «Огонька».

Кажется, к такому будущему Ольга Константиновна примеривалась. Существует с десяток снимков вполне представительных. Где бы они ни были сделаны — на даче, в парке или на улице, — у нее на груди орден Трудового Красного Знамени.

Человек с орденом отличается от того, у кого ордена нет. Спина вытягивается, а взгляд устремляется вдаль... Мы-то знаем, что у Громозовой плохое зрение, но читатель журнала может подумать, что она видит дальше всех.

Громозова и непроливайки

Помните, мы говорили о «к тому же» и «тоже»? В разных контекстах эти частности приобретают новый смысл. Так было и сейчас. Случай с заводом непроливаек оказался историей о ее мечтах.

Казалось бы, у нее хватает собеседников. Есть Прокофьев и Кочетов, да мало ли кто еще! Правда, с ними Громозова не чувствует себя на равных. Вряд ли она указывала им на ошибки и объясняла, как их исправить.

Ольга Константиновна перебрала много вариантов, прежде чем перед ней встал вопрос: может, тогда завод непроливаек? Она станет для него своего рода мерой. Будет определять, что получилось, а над чем надо поработать еще.

Теперь понимаете, что такое литературоцентризм? Сперва представляешь сюжет, а потом становишься его героем. Вроде как попадаешь в собственный текст.

Итак, коллектив хороший, но не очень опытный. Слабовидящая писательница жалует на чернильницы. Как бы добиться соответствия названию? Как-то неправильно выходит: она, нездоровая и немолодая, пишет книги, а непроливайки со своими обязанностями не справляются.

Даже на нашей памяти Громозова так делала во второй раз. Сперва пыталась вызвать на разговор Казьмина. Сейчас тоже могло возникнуть нечто неформальное. Сперва они обсудят недоработки, а потом перейдут на более общие темы.

Как тут опять не вспомнить «читателя, советчика, врача»? Кто как не она должна разобраться в их проблемах? Впрочем, сперва они должны увидеть, что за волнением за их продукцию встает вся ее жизнь.

«Я потеряла зрение в блокаду, — пишет она коллективу завода. — Быть неработоспособной в такое время, когда каждый на учете, для советского человека невозмож-

но. Я научилась писать не видя. Сначала работала простой вставочкой. Но попадать в чернильницу на ощупь — это очень сложно. Но когда мне дали вечное перо и научили накачивать чернила, я сразу почувствовала огромное облегчение в работе...»

Уже сказано, что Громозова чувствовала себя героиней повести. В ней она опишет то, что случилось, и то, что вскоре произойдет. Ей представлялось, как незнакомый голос в трубке сбивчиво объясняет, что ее письмо прочли и хотели бы обсудить.

Так Громозова станет другом завода. Если происходят какие-то перемены, непременно обращаются к ней. Она не только одобряет или не одобряет, но делится своими мыслями. Предлагает синее сделать зеленым, а гладкое ребристым.

С началом повести все понятно, а теперь надо придумать хеппи-энд. Ну конечно! Как мы помним, на стене у Громозовой — копия работы Бродского. Ленин, склонившись над рукописью, пишет что-то перьевой ручкой.

Художник — ученик Репина, представитель реалистической школы, а непроливайку забыл. Может, она под газетой на столе? Где-то посередине лист немного приподнялся.

Если эта картина войдет в текст, надо будет ее описать. Хотя ничего не происходит, ощущается важность момента. Даже два кресла в белых чехлах исполнены необытой значительности.

Теперь можно возвращаться на землю. Пора понять, что воображение ее обманывало. Где вы видели, чтобы рабочие внимали писателям? Не потому ли так получается, что никаких надежд они не связывают с литературой?

Вывод из этого не оптимистический. Возможно, директор позвонит. Вряд ли это будет предложением дружбы. Он убедится, что она не станет жаловаться дальше, и исчезнет навсегда.

Так что ничего не изменится. Тысячам владельцам непроливаек придется мириться с тем, что руки у них постоянно в чернилах.

Да и в прочей ее жизни все будет по-прежнему. Как тут не усомниться в том, что литература отражает реальность? Если писать все как есть, то читателя это вряд ли заинтересует.

Все это слышится в конце письма. Громозова начала бодро, а закончила сухо, словно сжав губы. Подписалась не «Ваша» и не «с искренним уважением», а «член Союза писателей СССР».

Таково расстояние между верой и разочарованием. Между воодушевленным «Почему нет?» и скептическим «Все хорошее, включая непроливайки, осталось в прошлом и уже не повторится».

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Екатерина Гуро и магнитофон

Вы помните, что это повествование мы начали в Уусикиркко. Здесь проводили время две сестры Гуро и Громозова. Больше чем через пятьдесят лет из тех, кто собирался у Матюшиных, не осталось почти никого. Только Екатерина Генриховна и Ольга Константиновна.

Прожить такое столетие — сомнительная радость. Старшая Гуро знает Хрущева и Брежнева, но куда лучше Хлебникова и Крученых. Власти для нее на одно лицо, но людей своего прошлого она не спутает ни с кем.

Зато Екатерине Генриховне известно главное правило нашего века. Пусть время тебя ломает, а ты делаешь то, что следует. Возможно, в этом упрямстве — секрет ее долголетия.

Итоги ее жизни складываются из многочисленных испытаний и смертей. Уже нет на свете сестры и многих друзей. Умерли мужа — первый, архитектор и инженер Александр Эрлих и второй, литератор Натан Венгров.

Последний муж был на двадцать лет ее младше, но скончался в шестьдесят втором году, в шестьдесят восемь лет.

Поначалу Венгров тяготел к имажинистам. «Повианьи глаза голодные / запутались в твоём чулке» — так начинается его книга восемнадцатого года. Время менялось, и задачи становились скромнее. По крайней мере, о том, чтобы выделиться, речь не шла. Он «делал как все»: писал для детей, выпустил монографию о Николае Островском. Отличился как организатор: создал Детгиз.

Это известный нам путь отступления. Сперва громогласно о себе заявляешь, много на себя берешь, а потом ни на что не претендуешь. Если не считать значительных гонораров и ощущения временной неуязвимости.

Старшая Гуро тоже не задержалась среди футуристов. После того как это течение перестало быть их семейным делом, проза ее не интересовала. Она ушла не в литературоведение или поэзию для детей, а переключилась на переводы.

Почему ее выбор пал на Джека Лондона? Может, причина в брутальности его героев? Только в товарищах сестры она находила что-то такое. Все прочие были хрупкие барышни и погруженные в свои мысли мужчины.

Одно дело говорить словами американского автора, а другое от себя. Писать прозу уже не имело смысла, и она выражала себя в письмах. Оказалось, на двух страницах крупным почерком можно сказать не меньше, чем в рассказе.

О том, что написать письмо не проще, чем что-то художественное, говорят переносы и стрелочки. Можно было перебеливать исправленное, но она хотела показать работу над текстом.

Сперва старшая Гуро сделала так, а потом так. Затем еще раз перечитала и абзацы переставила... Даже в этом не претендующем на известность жанре она оставалась автором. Человеком, который, прежде чем поставить точку, переписывает несколько раз.

В журналах ты обращаешься к неизвестному адресату. Может, тебя прочтут, а может, нет. Зато переписка — всегда диалог. Сразу чувствуешь, как ниточка натягивается и подрагивает в руке.

Да и путь это прямой, а не окольный. В печать попадаешь через редактора, а здесь посредников нет. Как в разговоре с глазу на глаз, многое определяют междометия и паузы.

Когда Екатерина Генриховна пишет подруге юности, она общается со своим прошлым. Не менее важно поговорить с будущим, и однажды это произошло. Адресат был неизвестен, но она не утратилась и вступила с ним в контакт.

Чем-то это напоминало спиритические сеансы, но было и отличие. Сейчас передача мыслей на расстоянии совершалась при помощи магнитофона «Яуза-5».

Не будем спешить и сперва скажем о госте. В Московском университете преподавал Виктор Дмитриевич Дувакин. Так бы продолжалось еще долго, если бы на суде Синявского и Даниэля он не выступил как свидетель защиты.

Лучше бы ему не высовываться. Читаешь литературу начала века — оставайся в этих рамках! Дувакин покинул времена Блока и стал участником самого последнего этапа русской словесности.

Вот почему контакты с молодежью ему заменили общением со стариками. Этот возраст не так подвержен влиянию. Если тебе девяносто, то, по крайней мере, лет семьдесят твои взгляды не меняются.

Теперь он назывался «старшим научным сотрудником». Ему поручалось фиксировать «устную историю», записывать на пленку свидетельства «последних из могикиан».

Почему он предпочел магнитофон бумаге? Вряд ли по стенограмме можно увидеть вспоминающего, а вместе с ним того, с кем он когда-то разговаривал.

Вот история человека, который беседовал с Блоком. По его голосу представляешь взволнованного гимназиста и ощущаешь высоту его собеседника. Состояния этих двоих противоположны, и потому диалога не выходит.

За такими людьми охотился Дувакин. Как узнает, что есть кто-то пожилой и многознающий, и сразу тащит к нему магнитофон.

Как он мог пропустить Екатерину Генриховну? Это был его контингент. Возраст за девяносто, интонации нетвердые, события и эпохи путаются. Спрашиваешь: «Это произошло до революции или после?», а она отвечает дипломатическим: «Как сказать? Непонятно, когда революция началась, а когда закончилась».

Правда, существовали темы настолько принципиальные, что Екатерина Генриховна переставала шарить во тьме. Она могла ошибиться в месяце и годе, но ее позиция не вызывала сомнений.

Например, она рассказывает о знакомстве с Лениным. После тюрьмы он отогревался в семье Мартова. Много спал, хорошо ел. Готовился с новыми силами вступить в борьбу за дело рабочего класса.

Так вот Дувакин спрашивает: «Ну и как вам Владимир Ильич?», а она, не раздумывая, отвечает, что он ей не понравился: «Сразу было видно, что человек делает карьеру».

Даже защитник Синявского и Даниэля смутился. Двадцатый съезд поколебал Сталина, но Ленин сохранил свое положение. Казалось, он вечно будет стоять, вытянув руку вперед.

Екатерина Генриховна смутилась своих слов и переменяла тему. Впрочем, это лишь на первый взгляд. Логика была не причинно-следственная, а более высокого порядка.

В общем-то, все тюрьмы одинаковые. Сразу после истории о Ленине и Мартове ей вспомнилось, как закончился ее собственный срок.

— Мне сказали: «Свободна, уходите», — что я сделала? Я свернула в пакетик то, что на мне было, там какую-то рубаху, панталоны, и с этим вышла на улицу.

Какой год ни возьми, по сути, все то же. Поэтому в одной фразе Ленин заключенный, а в другой она. Вот уж действительно: «Непонятно, когда революция началась, а когда закончилась».

Вот что Екатерина Генриховна рассказала Дувакину, а заодно потомкам. Эта пленка и есть ее «заветная лира». Если даже ее не станет, бобины все равно будут крутиться, а голос звучать.

Рядом с ней сын Генрих, или, как его называют дома, Готик. Ему больше пятидесяти, в войну он смело сражался в дивизионной разведке, освобождал европейские страны.

В мирной жизни Генрих — старший научный сотрудник лаборатории физики полупроводников и главный куратор своей матери. Когда она начинает путаться, он направляет ее в нужную сторону.

Во Второй мировой Готик победил, а тут постоянно проигрывает. Мать противится его власти над собой. Сложно быть твердой в таком возрасте, но она держится. Слова о Ленине мы приводили, а теперь вспомним ее борьбу за право жить одной.

Пусть ее дедушка Степан Андреевич бежал от революции, но независимость у французов в крови. Остаться в России значило сохранить позиции. Иностранец в русской столице на все смотрит немного со стороны.

Вот и внучка добивалась самостоятельности. В юности она этим чуть ли не бравиовала. Работала в подполье и держала нелегальщину дома. Все закончилось плохо.

Отец нашел листовки и буквально затосковал. Заперся в кабинете и весь день из него не выходил.

Требовать объяснений в их семье было не принято. Если дочка ввязалась во что-то нехорошее, то самое лучшее подождать. Пусть пройдет этот путь до конца и сама сделает выводы.

Стремление к самостоятельности не прошло с годами. Об этом она рассказала не на магнитофон, а в письме Громозовой. Будущему это неважно, а старая знакомая сможет ее поддержать.

Екатерина Генриховна постоянно спорит с Готиком. Сын напоминает, сколько ей лет, а она называет свой возраст «так называемой старостью». Стоит ей уступить, и он заставит ее съехаться. Тогда о свободе придется мечтать.

Сложно это все. Как видно, независимость в ней одной. Вряд ли в ее скромной однушке. Тут она чувствует себя как в «одиночном заключении», но ни за что не согласится жить у родственников.

Главное условие самодостаточности — дистанция. То самое, что ее дед обрел в России. Некоторая отстраненность позволила ему понимать ситуацию, но не входить в нее до конца.

Екатерина Генриховна явно чувствует свое право. Находишься она ближе к детям, она была бы дипломатичней, но сейчас не хочет ничего приукрашивать.

Хорошо, Готик и его сестра этого не прочли. Так бы они узнали, что «дети — это жестокая и, может быть, ненужная вещь» и ей «приходится расплачиваться за свое неистовое материнство». Затем говорится о том, что дочка «кончила Акад. Худ., архитектор, много работала, получает хорошую пенсию, ну а жизнь — сплошная маета». Сын тоже ее не радуется: «Готик неудачно женился и не захочет кончить, уйти не сможет. Это вроде гипноза».

У каждого должна быть жилетка, в которую он может поплакать. Так продолжается много месяцев. Пожилые дамы выговорятся и успокоятся. Все же ситуация небезнадежна, если есть с кем ее обсудить.

После высказанных ею неприятных слов Екатерина Генриховна переходит к мысли о гармонии. Для этого есть слова и интонации, позаимствованные у автора «Шарманки».

«Будь здорова, бодр, как можно больше думай о солнечных проталинках, сизых облаках и маленьких комочках — воробьях, которые без меня соскучились и голодны».

Словом, не сосредотачивайся на быте. Будь как Елена Гуро. Успокаивай себя тем, что одно течет, другое растет, а третье чирикает.

Немного отлегло? Если нет, воспользуйся другим способом. Купи магнитофон «Яуза-5». Он поможет отвлечься от настоящего и унести в эмпиреи.

Екатерина Генриховна уверена, что эмпиреи существуют. В десятые годы обходились без доказательств, а в век технического прогресса нужна экспертиза. Она обратилась к Готику, благо он физик, а его наука теперь признает то, чего, казалось бы, нет.

«Хотелось послать тебе хоть кусочек того настоящего, большого, что пронесло меня через последние трудные годы моих 92-х».

Я, конечно, много писала, но — дикое. Про основную мысль моего так называемого *Credo* Готик — физик говорит, что сейчас многие физики ходят вокруг мысли о реальной, существенной связи людей, то есть человеческого сознания. Это *Credo* пошло тебе, хотя сейчас оно мне кажется совсем детским. Вероятно, надо было подойти через беллетристику, через образы. Но ведь если такая связь все-таки существует, то ведь смерти нет и не может быть. Вот мое главное: в смерть как в уничтожение я абсолютно не верю, и чем ближе она подходит, тем нелепее кажется уничтожение сознания».

Не пропустите того, что это достигается «через беллетристику, через образы». Это то, чем занималась Елена. Впрочем, писать, как сестра, у нее не вышло, и она выбрала другой путь.

Интонация — это что-то вроде пылицы. Даже отпечатки пальцев могут сказать меньше. Как в примере с собеседником Блока, по понижениям и повышениям голоса мы представляем участников разговора.

Потом так будут делать разные люди. Пока она, подобно изобретателям вакцин, экспериментирует на себе. Хорошо, если получится, а если нет, она предостережет других от ошибок.

«В твоём окружении, — пишет Екатерина Генриховна, — вероятно, найдется „Яуза-5“. Меня увлекает сейчас „язык интонаций“ (единственный, между прочим, возможный сейчас общий язык)».

Казалось бы, она должна взять для записи кого-то из своего прошлого. Может, даже сестру. Тем удивительней ее выбор. Автор был младше ее сына и только недавно получил известность.

«Мама „шлифует“ стихи Р. Рождественского, — пишет Генрих Гуро, — скоро буду записывать пленку в ее исполнении».

Не лучше ли обратиться к чему-то классическому, легко ложающемуся на язык, а эти тексты напоминают бег с препятствиями. Каково пожилой женщине взбираться по «лестенкам»? Да и пафоса тут слишком много. Только придешь в себя и опять напрягаешь голос.

Видно, Екатерина Генриховна считала, что Рождественский — это Маяковский сегодня. Конечно, энергия не та, да и лишних слов хватает. Знакомый ее юности обращался к «городу и миру», а его последователь — к трибунам «Лужников».

Если бы у старшей Гуро был такой же редакторский опыт, как у Громозовой, она бы многое вычеркнула. Впрочем, актер (а сейчас она актриса) должен так прожить текст, чтобы необходимым казалось все.

Кстати, об актерской задаче и «общем языке». К интонациям поэта прибавляются ее собственные, к молодости — старость, к настоящему — прошлое. Два человека, проживших непохожие жизни, объединяются для того, чтобы сказать что-то одно.

Даже имя и фамилия этого автора соединяют несоединимое. Они читаются как монострока — строчка из одного предложения. В «Роберте» слышно новомодное, а в «Рождественском» — уходящее в глубь веков.

Такие «гремучие смеси» тогда были в моде. Физиков сравнивали с лириками и находили, что они тоже поэты. Так что старшая Гуро со своими текстами, идеями и «Яузой-5» все поняла правильно.

Так уже было в нашей истории. В начале века тоже уповали на технику. Да и как могло быть иначе? То говоришь по телефону, то наблюдаешь полеты бипланов, то едешь на мотоцикле. Все эти изобретения до неузнаваемости изменили жизнь.

При этом от веры в необычайное, присущей Серебряному веку, никто не отказывался. Так Матюшин увлекался научными открытиями — и спиритизмом. Находил общее между беседами с мертвыми — и существованием беспроводных приемников. Когда видишь возможности радио, начинаешь верить, что жизнь не кончается со смертью.

Ученики правильно понимали Михаила Васильевича. Когда Валида Делаacroa решила его порадовать, то подарила ему не книгу (все книги у него есть), не картину (он рисует лучше всех), а собственноручно собранный детекторный приемник.

Сколько раз Матюшин говорил о «четвертом измерении»! О том, что три доступны всем, а четвертое только художникам. Валида исповедовала эту веру, и приемник был ее подтверждением. Поворачиваешь ручку и убеждаешься, что для «расширенного слушания», как для «расширенного смотрения», расстояний нет.

Из учеников Михаила Васильевича не было никого, кто был бы так близок к разному рода механизмам. Делаacroа не только первая в мире женщина-радистка, но и первая радистка-художница. Ее картины говорили о ее пристрастиях. От моря тут смазанные краски, а от техники устремленность за границы реальности.

Можно вообразить, как Валида смотрит работу Матюшина, которую надвое разделил пучок линий, и представляет радиоволны. То и другое есть излучение. В одном случае мы ничего не чувствуем, а в другом чуть ли не обжигаемся красным, синим и зеленым.

Рисовать, как учитель, она не умеет, а приемники у нее выходят отличные. Берешь необходимые детали, соединяешь в нужном порядке, и откуда-то из глубины через помехи пробиваются голоса.

«Детектор, — пишет Валида Громозовой, — состоял из кристалла Вуда и стальной пружинки — очень неустойчивое соединение. Пружинка часто соскакивала — звук терялся. Слышимость была плохая, усилителей тогда не знали... Радиотелеграф выполнял служебные функции — по азбуке Морзе велись передачи междугородней связи, а также передачи сообщений РОСТА (ныне ТАСС). РОСТА передавались главным образом по ночам, когда слышимость лучше, чем днем».

После того как мы представили ученицу Михаила Васильевича, вообразим его самого. Время, как она нам подсказала, ночь. Он существует в мире четко пр очерченных границ, но одним движением их преодолевает.

Может, радио подражает художникам? По крайней мере, всенаходимость — это про них и про приемник. Да и «четвертое измерение» про искусство и технику. В одном случае вера подтверждена уверенностью, а в другом наличием «магнитных манжет».

На эту историю можно посмотреть с другой стороны. С той, на которой находятся не Матюшин и его ученица, а Громозова... На одном фото она смотрит на «Язуз-5», и на ее лице написано изумление. Возможно, сейчас ей стало понятно — немного изменим формулу «оттепели», — что магнитофон больше, чем магнитофон.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Харджиев и осада вдовы

Как уже сказано, деятелей авангарда стали упоминать. В основном в разговорах, но порой и в печати. Пока было неясно, к чему это приведет. Кто-то ждал теплой погоды, но чаще предрекали заморозки.

Как бы то ни было, оттепель продолжалась. Из тени выходили не только поэты и художники, но, к примеру, коллекционеры левой живописи. Этих людей было немного, но особенно выделялся Николай Харджиев. В это время его имя звучало так же гордо, как «Дудинцев» или «Шаламов».

Нового автора надо читать, а с коллекционером лучше разговаривать. Понятно, это удавалось не всем. Приходилось использовать испорченный телефон. Тогда его мысли доходили до публики не в самой первой редакции.

Вскоре вся Москва знала, чем Харджиев потчует гостей. Стихи Хлебникова собиратель называл «божественными», а его самого «Гомером». Затем разговор переходил к Малевичу и Матюшину. Когда он рассказывал об их женах и детях, ему вспоминалась Громозова.

Под финал хозяин доставал кое-какие раритеты. Так сказать, выкладывал карты на стол. Этих сокровищ хватило бы на европейский музей. Впрочем, дома эти вещи выглядели не так, как в экспозиции. Они говорили не только о себе и своем авторе, но и о том, кто их сохранил.

Кто такой был Харджиев? Не великий ученый, не большой писатель, но точно провидец. Его жизнь только начиналась, а он уже знал, что эпоха заканчивается. Надо торопиться сберечь то, что нам от нее осталось.

Понятно, когда так чувствуют пожилые, но в конце двадцатых это ощущали тридцатилетние. Многих из них потянуло на мемуары. Мариенгоф написал о Есенине, а Бенедикт Лифшиц о своей жизни рядом с футуристами.

Харджиеву тоже было что вспомнить, но он занялся собирательством. Это занятие имело в виду далекую перспективу. Забвение кончится, и новая жизнь авангарда начнется с его квартиры. Чтобы иметь на это право, его коллекция должна быть как можно более представительной.

Прежде чем перейти к картинам, следовало накопить знакомства. Действовал Николай Иванович всегда одинаково. Левых в это время перестали хвалить и потому его слушали с благодарностью. После таких визитов работа за мольбертом шла веселей.

Платить ему было нечем, но его расположенность была дороже денег. Особенно ценилось обещание, что мрачные времена скоро закончатся и это искусство попадет в музей.

Еще Харджиев писал статьи и книги, и тут тоже не обходилось без лукавства. Все это, конечно, ради главного. Обычно его спасал Маяковский. Его большая фигура защищала Гончарову, Родченку и Гуро.

Все удавалось до того момента, пока художники были живы. Вскоре они стали уходить, и их живопись переходила к вдовам. Договориться с ними было сложнее. Мужья соглашались на оплату комплиментами, а наследникам требовалось нечто повеселей.

Это осложняло осуществление плана, но у него была великая идея, и это многое оправдывало. Порой «цель» и «средства» настолько противоречили, что даже не хочется вспоминать. Он просил документы, чтобы сделать копии, и не возвращал их владельцам. То же происходило с картинами. Он их брал на хранение, а потом не отдавал назад.

Кое-кто смотрел на него косо, но он старался не для них, а для будущего. Впрочем, даже для такого поведения есть лимит. Обманул раз, а потом действуй по правилам. Тем более что для этого вскоре появились возможности.

После того как музей Маяковского привлек его к сотрудничеству, он стал расплачиваться выставками.

Это было единственное место в Москве, где можно было показывать авангардистов. Благо они приятельствовали с бывшим жильцом дома, а сейчас главным героем музея. Плохо, что очередь продвигалась медленно. Слишком много забытых талантов, а месяцев только двенадцать.

Разумеется, Харджиев не мыслил свою коллекцию без Гуро и Матюшина. Кое-что ему подарил Михаил Васильевич, чьи мемуары он редактировал, но теперь он должен был иметь дело с вдовой.

Прежде Николай Иванович не воспринимал Грозозову отдельно от мужа. Как говорит герой Чехова: «Жена есть жена». Он вроде как прощал ему эти отношения. Исходил при этом из той простой мысли, что вдвоем лучше, чем одному.

Конечно, Харджиев видел ее рисунки и читал ее книжки. Впрочем, это не повод отказываться от цели. Впереди выставки Гуро и Матюшина, да и в коллекции есть пробы. Так что он без нее не обойдется.

Прежде чем вы узнаете, как это ему удалось, сразу скажем, что осада привела к победе. В конце шестидесят первого года Грозозова получила два пригласительных билета. В них сообщалось, что 28–30 декабря состоится выставка Матюшина и Филонова, а 20 января вечер памяти Матюшина.

Вроде бы и вспомнили художников, но озаботились тем, чтобы обойтись без шума. Поэтому экспозиции ответили три дня. Вечер памяти назначили на другой месяц, чтобы одно не усиливало реакцию на другое.

На билетах стояла цифра четыре, но это был номер выставки, а не отсылка к четвертому измерению. Самое обидное, как назвали художников. В билетах значилось: «Художники — оформители произведений Маяковского. Михаил Васильевич Матюшин. Павел Николаевич Филонов».

Это тоже из разряда лавирования. Что взять с оформителей? Их роль не самостоятельная, а разъясняющая и растолковывающая.

Вот это Ольга Константиновна понимала. Она сама прибегала к этой тактике. Если нельзя так, можно попробовать сяк... Дело ведь не в том, как это называется, а в том, что собой представляет.

Обычно тот, кто сам легко обманывает, такую возможность для себя исключает. Наверное, поэтому Громозова не увидела подвоха. В иронии Николая Ивановича было что-то вроде подмигивания. Он словно говорил: надеюсь, вы поняли, что это несерьезно?

Переписка

В письмах Николай Иванович шутит направо и налево. Называет себя Чертило и пишет от его имени. Маска освобождает его от ответственности. Если это игра, то ему позволено все.

Кстати, этот прием Харджиев подглядел у Громозовой. Как мы помним, дневник она передала некоей Евгении Михайловне. Так она подстраховывалась. Если у кого-то возникнет недовольство, она переадресует его героине.

«Дорогая Ольга Константиновна, — писал Харджиев-Чертило, — посылаю вам эту бумажную птичку с наилучшими пожеланиями и с вестью о том, что в будущем году мне, быть может, удастся отметить годовщину нашего дорогого и замечательного Михаила Васильевича. Как будто мне придется (в сентябре) приехать в Ленинград на несколько дней... буду рад наговориться с Вами». Ну и в конце: «Ваш собственный Чертило». Размашистый автограф сопровождается комментарием: «Подпись лихая и с хвостиком».

Конечно, хвостик — не закорючка или волнистая линия, а то, что сразу выдает черта. Так что Чертило с полным на то правом прибавляет жара. Чертовски радуется полученному письму.

«Ваше письмо так меня обрадовало, что из угрюмого, пожилого, „утомленного высшим образованием“ Чертилы я превратился в веселенького чертика, родственного хлебниковскому».

Пароли, как видите, прежние. Кроме Хлебникова, назван Лисицкий, «лучший наш полиграфист, друг и ученик пана Казимира». Заканчивается письмо благодарностью «за... прекрасную способность насыпать добрые волны даже издалека».

Сразу возникает нехорошая мысль. Что если эти волны принесли Харджиеву работу Гуро? Как тут не ощутишь себя чертом, который, как писал его любимый поэт, «намного добрее самого лучшего человека».

Только два или три раза мы увидели Николая Ивановича серьезным. Существуют темы и ситуации, о которых не скажешь от чужого имени. Больно это для него важно.

Лет Николаю Ивановичу около шестидесяти, но в последнее время он зачастил на кладбище. Уходят, уходят друзья. Каждая утрата говорит о том, что он тоже стоит в очереди, и она когда-нибудь подойдет.

Вот он сообщает Громозовой, что умирает «мой старый друг Гриц. Нашей дружбе — больше 30 лет. Он мой соавтор по первой статье о Гуро». А это узнает о смерти Бори-

са Эндера: «Не перестаю грустить о Борисе — его последние работы самые лучшие. Как художник он был в полной силе. И, знаете, он был самым юным в своей семье — без него она оказалась такой же благоразумной как другие семьи. Бедный Бися, большой художник! Я счастлив, что сказал это ему живому».

Настоящее лицо Харджиева промелькнуло, и он опять развлекает Громозову. От имени Чертило едва не показывает фокусы и запускает фейерверки... Казалось бы, это представление надолго, но в семидесятом году переписка оборвалась. Как видно, у него появились другие, более важные, дела.

Наверное, Громозова посетовала на неблагодарность, но ее больше волновали собственные недуги. Вечно веселый Харджиев ее изрядно развлекал, но сейчас ей было не до того.

Под рукой у нее была тетрадка, которую прежде она читала как чужую историю, а теперь как свою. Это был дневник последних месяцев Гуро. Что значат пустые страницы в конце, она знала и мысленно к этому готовилась.

Можно обвинить Харджиева в чрезмерной практичности. Это так и не так. Для Громозовой подведение итогов началось с ощущения близкого конца, а для него с «оттепели». В это время многие иначе посмотрели на свою жизнь.

Вот о чем бессонными ночами Николай Иванович вел разговоры с собой. Он ничего не забыл, но во многом стал сомневаться. Все же одно дело, когда смотришь вблизи, а другое — со стороны.

Столько раз он лукавил, но сейчас ему хотелось точности. Следовательно, надо ехать в Питер в архив. Семь раз отмеряешь, один отрезаешь. Подтверждаешь свои мысли или отказываешься от них.

За годы литературной работы Харджиев не нашел более точного способа установления истины. Если прежде он уточнял чужие обстоятельства, то теперь эту меру применял к себе.

Уже много лет Николай Иванович — герой многих архивов, а значит, историческое лицо. Подходишь к каталогу и быстро находишь свою фамилию. Как сказал его хороший знакомый: «Вы на Пе, а я на Эм». Или в данном случае «на Ха».

В этом и есть суть таких хранилищ. Они подтверждают, что твоя жизнь не развеялась по ветру, а отложилась в разных бумагах, прочертила ясный след.

Как уже сказано, внутренние требования связаны с внешними обстоятельствами. Государство разбиралось в своем прошлом, а отдельный человек — в своем. Ему, человеку, было проще, чем всем вместе. Если он и должен был перед кем отчитываться, то только перед собой.

Задача самообследования едва ли не тайная. Кто, кроме нас самих, знает о наших угрызениях? Да и о том, что мы считаем миссией, как-то странно говорить вслух.

Если и признаешься, то по неосторожности. Проговоришься. Причем по постороннему поводу. Так Харджиев обсуждал свою работу со знакомой, а вдруг сказал: «Это нужно не мне и не вам, а русской культуре».

Харджиев наедине с собой

Театр начинается с вешалки, а архив с анкеты, в которой ты обозначаешь цель посещения. Харджиев написал, что документы ему нужны «для работы». Это следовало понимать не буквально. Речь шла не о сроках сдачи статьи, а о скрытой от посторонних работе над собой.

Требования в таких заведениях одинаковые для всех. Громко не разговаривай, лишний раз не касайся документов. Уткнулся в бумаги и, пока все не помотришь, постарайся не вставать.

Не такой у Харджиева характер, чтобы подчиняться. Тем более что эти документы говорили о нем. Странно, погружаясь в свое прошлое, вести себя тихо, как первоклассник на уроке.

Все это придавало решительности. Обнаружив что-то важное, Харджиев писал на полях: «Согласен» или «Все было иначе». Замечание удостоверялось подписью. Иногда с тем самым хвостиком, о котором он сообщал Громозовой.

После его комментариев рукопись из монолога превращалась в диалог. Следовательно, двадцатые продолжались. Так будет до тех пор, пока есть люди, для которых эти годы не история, а собственная жизнь.

Как видите, Николай Иванович верен себе. Прошлое оставалось для него настоящим. Да и как относиться к нему иначе, если многие из давних событий он осознал только сейчас?

Харджиева можно понять, а значит, оправдать, но в архиве на это смотрят иначе. Столь активных посетителей карают лишением билета и права работы.

Сейчас за залом тоже приглядывали, но почему-то обошлось. Возможно, решили, что пусть себе пишет. Если такой человек что-то добавит к документу, его ценность только возрастет.

Перечитывал Николай Иванович и свои письма Громозовой, но не оставил комментариев. Ведь и без того все ясно. Он постоянно дает понять, для чего затеял игру.

О некоторых выводах, сделанных по результатам поездок в Питер, он рассказал югославскому изданию. В восемьдесят пятом году такие сюжеты могли заинтересовать «Огонек», но он не изменил привычке. Как всегда, действовал не прямо, а в обход.

Журналист попался любопытный, но не очень знакомый с темой. Последнее Николая Ивановича не волновало. Если понадобится, он сам себе задаст вопрос и сам на него ответит.

Помните, как он писал на полях документов: «Все было иначе»? Настал момент, когда он может говорить все. Прямо называть белое белым, а черное черным.

Впрочем, тон был узнаваемый. Один разговор с ним его знакомая записала на пленку. Из него следовало, что Харджиев разделял мир на гениев — и всех остальных. Среди последних преобладали «аферисты». Они так и норовили совершить «идиотство» и навредить кому-то из его подопечных.

В «проходимцы» попадали разные люди. Например, Надежде Мандельштам Харджиев отказывал во всем. Когда говорили, что она пронесла в памяти стихи мужа, он утверждал, что не надо было этого делать. Зачем умножать число ошибок и добавлять работы текстологам?

С Громозовой у него была своя история. Как видно, дело в переписке, о которой он не сказал югославу. Скорее всего, ему хотелось объяснить себе, почему действовал так, а потом наоборот.

Объяснение ясности не прибавляет. Сперва Николай Иванович сказал, что это понял после ее смерти («...когда она умерла, тогда это все стало для меня ясно...»). Затем добавил, что она была женой Матюшина и он не хотел его огорчать. Значит, и при ее жизни он что-то понимал, но до поры до времени скрывал.

Конечно, кое-что есть верное, но есть и несправедливое. Зачем говорить, что она «Гуро не любила очень»? Вряд ли он не знал, что Елена перед смертью захотела увидеться с Ольгой. Да и для Матюшина эта дружба значила многое, если не все. Так Елена вроде как одобряла их брак.

Скорее всего, Харджиев действовал обдуманно. В его кругу самым страшным обвинением считалась нелюбовь к Елене. Обман и бездарность еще можно было простить, а это никогда.

Как мы помним, Николай Иванович отмечал в Громозовой «прекрасную способность насыщать добрые волны», а сам гонит совсем другую волну: «Она... начала выдвигать себя за знакомую Ленина. Черт знает, что такое. На самом деле она служила в магазине в Ленинграде, где продавали и политическую литературу, были такие и до революции... И там, бывало, покупал Воровский, русский дипломат, который был убит, вы знаете... А потом она выдумала себе политическую... ведь она никогда не была членом партии... когда я узнал всю ее фактическую биографию, я пришел в ужас. А потом она начала писать, это дикая графомания, ей писали редактора, кроме того, это чудовищная ложь была... Это ужасная женщина совершенно».

Почему он так набросился на Громозову? Все же она никому не навредила, кроме читателей. Да и те к таким сочинениям привыкли. Они относились к ним так же спокойно, как к плакатам на улице и речам в газетах.

Нельзя не увидеть, что Харджиев передергивает. Не замечает того, что «дьявол в деталях». Правда, в нашем случае это черт. Не зря он помянул его в интервью.

Громозова не утверждала, что хорошо знала Ленина. Да она бы и не выдержала близкого знакомства. Филонов не производил на нее впечатления, а от одного слова вождя у нее кружилась голова.

Про магазин, как мы знаем, правда, но почему он сказал о Воровском? Если даже Громозова его о чем-то просила, то не чаще, чем Бонч-Бруевича. Да и что плохого в том, что на всех этапах жизни у нее находились доброжелатели?

Вряд ли редакторы признавались в том, что за нее пишут. Это подозрение опровергает и заключение Гродненского. Оно подтверждает, что работа шла по всем линиям — она касалась как целого, так и деталей.

Особенно удивляет требование предъявить членский билет. Можно не иметь корочек, но все делать, как надо. Иногда у беспартийных рвения больше. То, что партиец уже показал, ему следует доказать.

Скорее всего, дело в том, о чем уже говорилось. К прошлому Харджиев относился так же, как к настоящему. Он вел себя так, словно Громозова по-прежнему жила на Песочной.

Отдадим должное этому горячему человеку. Тем более что он был требователен не только к другим, но и к себе. При этом признаем, что иногда правильней что-то не заметить. Пусть не согласится, но так близко к сердцу не принимать.

От акции Харджиева остались только пометки на полях. Все остальное он проговаривал про себя. Почему-то кажется, что во внутренних монологах он был не так строг. Возможно, многое прощал и думал: а ведь у нас много общего!

Вроде все разное — от идей до пристрастий. При этом оправдания схожи. Оба считали неизбежной жертву ради больших целей. Говорить правду, как и неправду, им было приятно и легко.

Громозова и осада издательства

Завершая жизнеописание Громозовой, опять вернемся к началу. В сороковом году наша героиня загорелась одной идеей. В это время она работала в школе, но был июль, время каникулярное, а для издательства «Искусство» самое что ни есть рабочее.

Конечно, шансов практически не было. Матюшина давно не упоминали, а авангард со всех трибун признали ошибкой. Как в такой ситуации издать мемуары мужа? Эту мысль можно было считать фантастической, если бы у нее не возник столь же фантастический план.

А что если она сама предложит поработать с его рукописью? Что-то сократить, а что-то переписать и даже дополнить?

Как тут опять не вспомнить о жертве? На сей раз большая цель заключалась в необходимости публикации. Михаила Васильевича при жизни эти проблемы не волновали, а потому их решать придется после его ухода.

Если кто-то упрекнет Громозову в своеволии, у нее есть документ с печатями и подписями. В нем подтверждалось ее право на все — как на жилплощадь, так на картины и рукописи.

Осаду Ольга Константиновна начала исподволь. По опыту работы в издательстве она знала, что редакторы — люди занятые и каждая толстая рукопись им как нож острый. Поэтому прежде, чем предложить книгу, она написала заявку.

«Настоящая книга является первым вариантом и далеко не охватывает имеющегося в архиве М. В. Матюшина материала на эту тему, — писала она. — Необходима и сюжетная переработка — расширить дневниковую часть за счет научной части, педагогическую часть возможно сократить».

Иногда решения принимаются скоропалительно, и кое-что Громозова сделала впрок. Пока издательство думает, ей следует показать, что она может и в чем видит свою цель.

Если это нарушение авторского права, почему ей постоянно виделось присутствие Матюшина? Что-то вычеркнет или впишет, а потом думает: как бы муж отнесся к ее правке? Если ей казалось, что он хмурится, переделывала еще раз.

Так теперь и существует этот текст. Определить границы чужого участия трудно, но можно прислушаться. Постоянно натыкаешься на то, что к чистому звуку примешивается посторонний.

Вмешательство Громозовой надо воспринимать на слух. Как сказано, фонит. К тому же есть этические вопросы. Если горькое представлено как необходимое, это ее рука.

К примеру, о том, как Матюшин поступил на службу в хозяйство Петрокоммуны, говорится так, словно работа на огороде заменила ему труд у мольберта.

Впрочем, читайте сами: «Если государственная служба в последние годы царской России мне настолько опостылела, что я бежал от нее в „свободное“ искусство, уйдя из оркестра на пенсию, то с началом революции во мне проснулась жажда общественной работы в коллективе. Мне за все хотелось взяться, своими руками участвовать в борьбе пролетариата за социализм. Недаром я взялся быть уполномоченным по снабжению от усадьбы литераторов в 1917 году. Весной 1918 года я поступил рабочим на показательный огород Петрокоммуны. Я знал, что, подымая целину под огороды, я боролся с голодом, и я не замечал усталости в свои шестьдесят лет».

Это обычный для Громозовой рецепт. Надо так смешать правду с неправдой, чтобы их было не различить. В конце десятых годов Матюшин действительно искал возможности подкормиться. За все остальное, что тут написано, отвечает его вдова.

Казалось бы, только этот отрывок увеличивает шансы рукописи, но редакторы не прониклись. Возможно, их смутили несоответствия. Все же странно, что на одной странице автор восхищен «чистотой отданности искусству», а на другой вдохновляется работой в огороде.

После всех усилий, потраченных зря, книгу следовало отправить на антресоли. Тем более что дальше началась война, а потом тоже было не до того. Только под конец жизни Ольга Константиновна опять вернулась к своему плану.

Так в ее книге впервые был упомянут напрочь забытый Филонов. В первом издании «Песни о жизни» он назывался Художник, а в том, что вышло в семидесятом году, полным именем и фамилией.

«В старенькой тужурке и кепке он, как Дон Кихот, шагает по траве, — писала Громозова. — Человек искусства! Он верит в свое дарование». И еще: «О нем много говорили. Называли его фанатиком, подвижником. Вспоминали последние часы

жизни. Товарищи и ученики принесли больному Филонову продукты. Принесенную провизию он отдал жене. Он был уверен, что поправится, говорил об искусстве, а не о болезни».

Читавшие оба издания удивлялись: вот, оказывается, это о ком! Прежде не возникало никаких ассоциаций, а теперь они жадно вглядывались в каждую строчку.

Как всегда, в ее текстах не все слова на месте, но некоторые правильные. Кто-то и прежде считал его Дон Кихотом, но сейчас это было напечатано. После ее книги двадцать лет не происходило ничего. Так продолжалось вплоть до каталога выставки в Русском музее, в которой художника называют «гениальным».

Удача подвигла завершить начатое. В семьдесят третьем году в «Звезде» вышло ее «Призвание». В этой повести Громозова вспоминала мужа, Гуро, да буквально всех. Эти вольности компенсировались тремя-четырьмя абзацами, в которых она писала, что не всегда с ними соглашалась.

«Еще недавно в тюрьме я мечтала стать пропагандистом. Участвую в революционной работе, распространяя большевистские книги, и вот — чем-то уже зачарована в этом новом для меня мире. Далекое раньше, непонятное, незнакомое искусство подошло совсем близко. Хорошо ли это?.. „Но ведь это только передышка после тюрьмы!“ — успокаиваю я себя...»

После Филонова, чье имя с ее легкой руки вернулось читателю, пришел черед Матюшина. В своей повести она не только представила его как «революционера искусства», но защищала от напраслины. Наконец, она могла сказать, что судьба страны интересовала его не меньше, чем «четвертое измерение».

Если бы она так прямо написала, то вряд ли бы ей поверили. Даже литератору понятно, что слова потеряли свой вес. Их и без того производится во множестве, и еще страничка-другая вряд ли что-то изменит.

Другое дело пример. Если ничего такого она не может вспомнить, то почему бы не придумать.

У Ольги Константиновны вышел забавный диалог, да еще с музыкальным финалом. Правдой было то, что муж действительно имел склонность к игре. Иногда выдумает что-то эдакое, и любая ситуация становится преодолимой.

«Совсем неожиданно меня премировали орденом на ботинки... Даю продавцу ордер, а он вместо хорошеньких ботинок — ведь это премия! — подает мне тяжеленные, грубые сапожищи из свиной кожи, да еще на три номера больше, чем нужно...»

«...Неожиданно он (М. В. — А. Л.) схватил мою обновку и поставил на пианино.

— Слушай, это гимн сапогам.

Он заиграл с такой силой и чувством, что мне стыдно стало горевать».

Первое впечатление: а почему нет? Правда, немного смущает местоположение. Надо же, куда они вознеслись! Лучше бы сапоги касались земли, а не нежной поверхности пианино.

Тут начинаются вопросы. Все же музыканта в Матюшине было не меньше, чем художника. Вряд ли по отношению к инструменту он бы допустил подобную фамильярность.

Сперва отделим правду от неправды. Конечно, сапоги существовали. Грубые, неподъемные, размером на крупного мужчину. Увидев, чем с ней расплатились, муж должен был сказать, что будет трудиться сколько угодно, но заработает на новую обувь.

Как видите, вместо обещаний был предложен гимн. Весело посмеялись, но жизнь легче не стала. «Я натолкала ваты, — написала Громозова, — и, спотыкаясь, стала в них ходить».

Дело в том, что в начале двадцатых такие вещи не покупали, а получали или обменивали. Фабрики не справлялись, и приходилось заниматься конфискациями. За-

чем сапоги в могиле или тюрьме? Плохие люди их уже относили, а теперь пусть носят хорошие.

Так граждан приучали к тому, что им ничего не принадлежит. Будь ты хоть Шалапин, помни, что ничто не вечно. Серебряные тарелки сегодня твои, а завтра их отобрали. «Конечно, товарищ Шалапин, — объяснял правду революции Лев Каменев, — вы можете пользоваться серебром, но не забывайте ни на одну минуту, что в случае, если бы это серебро понадобилось бы народу, никто не будет стесняться с вами и заберет его у вас в любой момент».

Один из руководителей нового государства так и сказал: «...никто не будет стесняться с вами», продемонстрировав, что ему подчиняются не только вещи, но и язык.

Серебряная посуда пригодится любому, а сапоги подойдут не каждому. К примеру, буржуй был мелкий, а его обувь досталась крупному. Всем хороша обновка, а носить ее невозможно.

Вот мы и разобрались. Это был «гимн конфискованным сапогам». «Сила» и «чувство» здесь ни при чем. Куда больше тут подошла бы не громкая и патетическая, а тихая печальная музыка.

Как видите, Громозова верна себе. Писать и рисовать для нее значило, прежде всего, приукрасить. Если случалось говорить правду, она делала это так, чтобы никого не расстроить.

Этим Ольга Константиновна занималась не по красным дням календаря и не в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Такой была ее повседневность. Тем важнее вспомнить моменты, когда обыденность отступала и верилось в четвертое измерение.

Эти события Михаил Васильевич называл «шоками». Уж насколько все изменчиво, но есть что-то постоянное. Мы всегда будем благодарны тем, кто от нас ушел. Жизнь и так печальна, а с каждой утратой становится еще грустней.

Вот почему кладбища — пространства экстерриториальные. Конечно, у них есть адрес, но, по сути, они не принадлежат ни времени, ни пространству. Вот где применимо матюшинское «расширенное смотрение». Казалось бы, куда ни взглянешь, все разное и в то же время одно.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ДО. 1913—1945

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Могила Гуро

Прежде чем рассказать, как прощались с нашими героями, вспомним о том, как «погребали эпоху». Трудятся могильщики — «дело не ждет», а потом их работу завершают крапива с чертополохом.

У Ахматовой хватало причин для таких выводов, но ведь бывает и по-другому. Вот уходит кто-то близкий, и в твоём мире возникает пустота. Что-то такое ощущает безрукий в том месте, где прежде была рука.

Таким для Громозовой был уход Гуро. Уж как они не похожи, но смерть сосредотачивает на главном. Думаешь не о том, что вас разделяло, а о том, без чего будет трудно жить дальше.

Это были «лучшие» похороны. Потом один из присутствовавших так и написал: «Лучших похорон, лучшего места успокоения нельзя было придумать для покойной».

Вспоминалось, как Елена входила в лес и в нем растворялась. Или, как она писала, становилась «леснее и леснее». Когда это ощущение переносилось на бумагу, могло показаться, что это цветок или дерево рассказывают о себе.

Вот за это Матюшин ее полюбил. За талант не подменять реальность, а становиться ею. Когда-то до полного самоотречения она вглядывалась в скульптуру, а сейчас перед ней открывался природный мир. Было что разглядывать и во что перевоплощаться.

Тот, кто способен дарить себя другому, без благодарности не останется. В последний путь ее провожали белочки, жуки и божьи коровки. Деревья шумели, птицы пели, насекомые летали. Природа разговаривала на все голоса, а люди молчали и жались поближе к гробу.

Затем для Матюшина настали сложные дни. Вдруг оказываешься один на один с проблемами, которые прежде они решали вместе. К ним надо прибавить совсем новый вопрос. Всякий вдовец думает о том, как должно выглядеть надгробие, но с художника спрос будет особый.

Михаил Васильевич решил все сделать сам. Уж очень это личное. Все равно как если бы она, больная, попросила его сменить на постели белье.

Обычно памятник сообщает о том, кто тут лежит. Матюшину показалось, что этого недостаточно. Ведь даже на обложках своих книг Гуро не ограничивалась именем и фамилией. Всегда рисовала что-то, что помогает войти в текст.

Можно было сделать что-то узнаваемое. Поместить профиль или поставить фигуру в полный рост. Эти варианты он отверг. Изобразить внешнее куда проще, чем показать суть.

Матюшин стал перечитывать ее рассказы и нашел решение. В них, как в хорошей живописи, одно заменяет другое. Ощущения имеют цвет, а герои вписаны в пространство и порой даже пространством являются.

«Броситься скорей одетой на кровать. Засыпая от усталости, чувствую: синеют окна. Сливается. Ноют приятно ноги. Где-то играет шарманка».

Словом, все существует во взаимодействии. Не разобрать, где человек — и окно, уставшие ноги — и шарманка. Даже, казалось бы, несопоставимые «чувствую» и «синеют» едва ли не отражены друг в друге.

Свою идею Михаил Васильевич нарисовал. Почти весь лист он отдал светлому и зеленому, а могиле левый нижний угол. В этой диспропорции есть правда. Раз Гуро осознавала себя через природу, то что как не лес и поле могут о ней рассказать.

Большой мир включает природу и небо, а мир малый соразмерен человеку. В сосну рядом с могилой Матюшин врубил перекладину. В поперечье вырезал «ЕГГ» и поставил икону Божьей Матери.

Вряд ли где-то еще есть живой крест, корнями уходящий в землю. Впрочем, на акварели есть только сосна. Пока она ничего не символизирует, а просто растет, как ей хочется.

Нет тут и человека, который придет сюда и сделает окончательно ясной его идею. Он должен будет стать не стаффажем, необходимым мазком в центре картины, а активным участником.

Посетитель сядет на скамейку, вытащит книгу из прикрепленного к ней ящика. «Тот, кто хочет познакомиться с произведениями Гуро, — было на нем написано, — может их взять. Уверен, что они будут положены обратно». Тон этого обращения говорит о том, что муж и сейчас находился рядом с женой — незримо руководил жизнью вокруг памятника.

Какое-то время так и происходило, как просил Михаил Васильевич. Местные жители и дачники подолгу проводили здесь время с книжкой в руках, а потом возвращали ее на место.

Матюшин наблюдал со стороны и радовался. В этом погружении в чтение было что-то от постоянной задумчивости Елены. Возможно, когда его жена писала эти страницы, она так же морщила лоб, как сейчас это делал читатель.

Сколько времени может длиться взаимопонимание? Матюшину было дано около семи лет с Гуро, а скамейка простояла около двадцати. Затем все это куда-то исчезло. Тот, кто пришел на могилу, хотел бы присесть с книжкой, но на этом месте не было ничего.

Это было первое покушение на его замысел. Сочиненная им композиция устояла и все-таки выдержала.

Кроме надгробия — материального выражения памяти, — есть память нематериальная. Прежде чем сказать о поражении первого, вспомним о победе второго: в начале двадцатых на квартире Эндеров показали спектакли памяти Гуро.

По-разному прощаются. Коротко — во время похорон, долго — всю жизнь. Есть еще вариант этих представлений. Если театр начинался с церкви, почему бы ему опять церковью не стать? Сюда придут опечаленные утратой вроде как для коллективной молитвы.

Вечера памяти Гуро

Все Эндеры были матюшинцами. Это значит, что с учителем их не разделяло буквально ничто. Даже жили они на той же Песочной улице. Правда, не в начале, а в конце.

До революции Эндерам принадлежала вся квартира. Разумеется, потерпеть такое роскошество было невозможно. Впрочем, поначалу власти действовали щадяще. Даже оставили за ними самую большую, почти стометровую, комнату.

Вот в чем предназначение этого пространства. Нескольким семьям в нем расположиться сложно, а для спектаклей оно подходит сразу в нескольких смыслах.

Даже для открытых экспериментам двадцатых годов зрелище было радикальное. Сам Мейерхольд не решился обойтись без героев и сюжета. К тому же домашний статус освобождал от ответственности. Если спросят, что вы задумали, говоришь, что ничего такого. Встретились для того, чтобы помянуть жену общего друга.

Как бы то ни было, зрители вели себя так, словно пришли на собрание масонской ложи. В коридоре разговаривали тихо и старались не показывать, что знакомы много лет.

Как и масонов, здешнюю публику связывало общее знание. Чтобы прийти в театр, надо купить билет, а чтобы увидеть этот спектакль, разделять взгляды устроителей. Вместе с ними считать, что необязательно рассказывать историю. Достаточно игры цветовых пятен и геометрических фигур.

Словом, зрелище само выбирало зрителей. Право приобщиться доставалось тем, кто понимает этот язык. Среди них были замечены Пунин и Малевич, Андрей Белый и Юрий Тынянов.

Для выводов о жизни, смерти и искусстве обычно надо много слов, но, выходит, можно и так. Ведь не прилагаем мы к картине инструкций. Все понимаем по движению цвета и линии.

Вот, например, смерть. В нескольких метрах от публики Михаил Васильевич представил загробный мир. Не загробный мир как таковой, а тот, куда ушла Елена Гуро.

Елена Генриховна не растворялась в бесконечности, а оказывалась среди своих образов. Правда, теперь за нее говорили не слова и краски, а свет, цвет и объем. Спектакль так и назывался: «Рождение света, цвета и объема».

Если на Песочной или в Уусикиркко было больше обыденного, то здесь преобладало такое, из чего возникает искусство.

Тому, что показали в квартире Эндеров, предшествовал холст «На смерть Гуро». Матюшин и тут избежал жизнеподобия. Пучок разноцветных линий устремлялся к верхнему краю холста. Это был след ее жизни, ярко вспыхнувшей и быстро пролетевшей.

Спектакль, зрители и коммунальная квартира

Итак, вы — Пунин или Андрей Белый. Вы позвонили в звонок и вошли. Как сказано, путь к спектаклю пролегал через коридор. Тут царил самая что ни на есть коммунальная реальность.

Как известно, театр начинается с вешалки. Просто вешалки бывают разные. Эта не напоминала театральный гардероб. Да и с фойе театра, полнящегося ожиданием, здесь не было ничего общего. Если что и витало в воздухе, то только запахи кухни.

Коммунальный быт вездесущ. Только переступаешь порог, а он тут как тут. Это уже не об атмосфере, а о шкафах и сервантах. Чтобы освободить место для игры, мебель сдвинули в угол комнаты.

Дальнейшее мало связано с реальностью. Как уже сказано, торжествовала геометрия. Треугольники и квадраты не подчинялись земному тяготению, а скользили и летали.

Не спрашивайте — почему? Просто примите как данность. Вы же не требуете от художника изменить цвет или перенаправить линию. Понимаете, что это его мир, а не ваш.

Сезанн призывал «трактовать природу посредством цилиндра, шара, конуса». Кажется, внутри нарисованных им людей и предметов существовал каркас. Он «держал» форму этого мира, не давал ей расползтись.

А что если внутреннее сделать зримым? Именно так поступил Матюшин. Когда бумажные колонны в центре комнаты брались на просвет, проступали куб, эллипс и шар.

Когда куб и эллипс поднимались к потолку, шар оставался внизу. В эту минуту зрители видели, что шар населен — находившийся в нем человек был одет во все красное.

Вы опять интересуетесь: что это значит? Вряд ли тут было что-то, кроме красоты. Ведь не пытаемся мы объяснить появления кошки. Она проскочила в приоткрытую дверь, пересекла комнату и устроилась на коленях Тынянова.

Кошка все сделала правильно. Она двигалась так спокойно, словно ее окружали не квадраты и треугольники, а поле и лес. Это в ней проснулась звериная интуиция. Спектакль говорил о вещах изначальных и в каком-то смысле сам был природой.

Вместе со светом и всем прочим рождалось музыкальное сопровождение. Для этого Матюшин сконструировал инструмент «Свет-форма-звук-шум». Эффект был оглушительный. Дом сотрясаясь, а соседи мысленно желали участникам гореть в аду.

Что ж, реакция понятная. Спектакль обращался не только к зрителям, но к тем, с кем Эндеров вынужденно связала судьба. В эти минуты в воздухе повисал вопрос. Он требовал выбора между художественным — и нехудожественным, отвлеченным — и бытовым.

Если люди за стеной предпочитали понятное, то в спектакле побеждало особенное. На этом настаивал и упомянутый инструмент. Он был столь же странен, как все, что тут происходило.

Представьте веревку, натянутую на четыре колка. На каждом из углов утвердилась геометрическая фигура: красный шар, зеленый куб, желтый ромб, синяя спираль.

Выходит, это не один инструмент, а четыре. Своего рода квартет. Каждый звучит по-своему: шар гремит подобно гонгу, куб издает треск, спираль посвистывает, а желтый ромб басит на низах.

Надо ли объяснять — почему это мир Гуро. Ее проза свободна от второстепенного и представляет чистую эмоцию. Сюжет отсутствует, а единственным героем становится автор. Почти нет и событий. Если, конечно, не считать дождя или распускающегося цветка.

Отчего возникает напряжение? Наверное, оттого, что Елена Генриховна не просто описывала эти явления, а в них участвовала.

Ощущение связи всего со всем приходит по-разному. Гуро вступала в контакт с природой, а к Матюшину это чувство пришло в филармонии. Он слушал Шуберта и наблюдал за огнями люстры. Именно тогда, по его словам, «первый синтез звука и света залег в меня».

Вот это о чем. Механическому сложению противопоставлялось внутреннее единство, арифметике — высшая математика. Эта идея не декларировалась, а воплощалась. Линии, краски и звуки существовали не сами по себе, а в неразрывном единстве.

Кто-то разделяет содержание и форму, а тут форма и была содержанием. Даже общий коридор имел отношение к действию. Он не только вел в комнату, где играли спектакль, а подводил к общей идее.

Коммуналка свидетельствовала о тесноте, а спектакль о расширении. Наконец пространство увеличилось настолько, что открылось небо. Облака напоминали эскимо на палочке. Покачиваясь в руках исполнителей, они проплывали над головами зрителей.

Вот он, триумф русского авангарда. Публика оставалась на своих местах и в то же время пребывала на воздушных. Наконец окно, а за ним еще одно небо. Оно тоже было все в облаках, но уже не картонных, а перистых и кучевых.

Помимо основного, существовал параллельный сюжет. Посторонние о нем не догадывались. Казалось бы, абстрактное зрелище скрывало абрис истории, рассказанной на этих страницах.

Хотя Матюшин вдохновлялся Успенским, а не Фрейдом, не обошлось без погружения в душевные глубины.

В одном из кубов находилась Громозова и вместе с другими участниками запускала механизм спектакля. Впрочем, ее роль была не только технической.

Для Ольги Константиновны это была еще и встреча с Гуро. Вместе с Матюшиным, который на всех представлениях сидел в зале, их опять было трое.

Удивительно, как легко Громозова входила в чужой мир. Вспомним о «Победе над солнцем» и спиритических сеансах. Впрочем, до полного растворения не доходило. Она ощущала себя внутри истории — и видела ее со стороны.

Вряд ли ей нравилось то, что придумал Матюшин. Почему черти и ангелы заменены геометрическими фигурами? Словно не только на земле, но и на том свете все стали авангардистами.

Как всегда, ей было сложно выбирать из двух возможностей. Вот и сейчас она думала: конечно, Миша — моя вторая половинка, любимый человек, но уж больно накручено. Словно на вопрос, сколько будет дважды два, он отвечает: сто пять.

И еще похороны

Что еще сказать о том, как «погребают эпоху»? Прежде чем вспомнить о похоронах Матюшина, надо сказать о прощании с Малевичем.

Ничего такого не было ни до, ни после. Все же Невский предназначен для другого. Тут прогуливаются, спешат по делам, а не провожают в последний путь.

Так что публика была разная. Кто-то пришел ради «великого Казимира», другие по своей причине. Им все это казалось диким. Они возмущались и требовали позвать милиционера.

Последняя демонстрация троцкистов состоялась в двадцать седьмом году, а это была первая и последняя демонстрация художников. На это время проспект забывал о классических традициях и принимал сторону супрематизма.

Центральный образ был найден точно. Малевич всегда шел против течения. Вот и сейчас поток людей двигался в одну сторону, а грузовик с гробом в другую. Так ученики мастера сообщали «городу и миру» о том, кого мы потеряли.

Начиналось прощание дома. Казимир Северинович под белой простыней лежал на белом прямоугольнике. На фото видно, что простыня сбита. За этой подробностью возникает живой жест. Словно перед смертью художнику стало холодно, и он решил получше накрыться.

На стене висели «Черный квадрат» и другие полотна. Все это — холсты, прямоугольник, лицо человека, измученного болезнью, но уже свободного от нее — стало последней его картиной.

Дальше действие переносилось на улицу. Квадрат — вроде как фирменный знак покойного — укрепили на бампере. Любой прохожий должен был увидеть: да, это он. За государство говорят серп и молот, а за него самое известное его полотно.

Гроб тоже был особенный. Он напоминал супрематистский архитектон и египетский саркофаг. Не зря ученики называли покойного вождем, что почти то же, что фараон.

Фараон забирал с собой челядь и лошадей, а Малевич свои идеи. Хотя бы этот квадрат. После того как художник его придумал, он из области геометрии перешел в сферу прозрений.

Удивительно такое внимание к мастеру, не имевшему официального статуса. Не академик, не герой. Скорее, плотник, если иметь в виду кряжистую фигуру и натруженные руки.

Как это возможно в обществе, где каждый сверчок знает свой шесток? Впрочем, речь шла не о положении в иерархии, а о месте в другой системе координат. Тут Малевич был едва ли не первым.

От Почтамтской, два, что рядом с Исаакиевской площадью, до Московского вокзала достаточно близко. Каких-то полчаса, и художник покидал столицу русского авангарда.

Как хоронили Матюшина

Похороны Матюшина были другими. Ученики любили Мих Васа, но вождем не называли. Да и вдова была бы против демонстративности. Поэтому его последний путь проходил не по главной улице Ленинграда, а через поселковое кладбище.

В городе тишины не бывает, а тут в избытке. Как сказал его ученик о любимой Чукотке: «Тут нет лишних людей». Вот и в Мартышкине было так же. При жизни ему здесь было спокойно, а теперь спокойно навсегда.

Похороны были «лучшие», как когда-то говорили о проводах Гуро. В присутствии леса и его обитателей, учеников и друзей. Были и жители поселка. Скольким из них он помог! Когда что-то требовалось по столярной части, сразу шли к нему.

В городе не обошлось бы без выступлений, а тут больше молчали. Если посмотреть со стороны, все было примерно так, как у местных. Пару дней назад хоронили одного старика, и теперь они оказались рядом.

Все же Матюшин вернул себе отдельное положение. Кто-то решил погадать на его записной книжке и сразу получил ответ. Перед открытым гробом эти слова прозвучали как утешение и как напутствие на будущее.

«Мы должны все изменять, — писал Михаил Васильевич, — организуя своим творчеством жизнь. А смерть — это закон природы. Но и здесь мы многое можем изменить в жизнь, а не в смерть».

К тридцать четвертому году уже не вспоминали о Серебряном веке. Если только наедине с собой. Эта запись подтверждала, что художник остался верен своему прошлому.

Мы не раз упоминали о двоимирии, или «жизнетворчестве». Это странное слово не предполагает финала. Кажется, его половинки всегда будут взаимодействовать и рождать что-то новое.

Может, и жить надо так, будто смерти нет? Организовать неорганизованное, вносить смысл в бессмысленное... Глядишь, тогда у нас появится шанс.

Существовали не только высокие аргументы. О том, что на кладбище жизнь не только заканчивается, но продолжается, говорил урожай опят. При виде повсюду рассеянных желтых шляпок думалось: «Не начать ли исполнять его заветы с похода в лес за грибами?»

Даже то, что оставляли посетители на матюшинском камне, отличалось от того, что они возлагали на другие могилы.

У надгробий Стравинского и Дягилева на кладбище Сан-Микеле часто лежат нотные листы, а Михаилу Васильевичу приносят яблоки. Купят по дороге, что-то съедят, а одним или двумя поделаются с ним.

Предположим, вы пришли сюда осенью. Много желтого и зеленого, а вдруг — красное яблоко. Так и ждет, что появится художник и его нарисует.

Как видно, дело в том, что Матюшин — основоположник органического направления в живописи. Все плоды и растения, животные и насекомые имеют к нему непосредственное отношение.

После того как тут похоронили Ольгу Константиновну, эти яблоки и по ее душу. Кто-то считает, что она их не заслужила, но я с этим не согласен. Все же несколько десятилетий они прожили вместе. Что касается ее жизни после ухода мужа, то это уже не про него.

Жизнь после похорон

Громозова всегда была в гуще событий, а вдруг осталась одна. Его ученики не в счет: найдут, отдадут пакет с яблоками и уже собираются уходить... Когда-то их было не выкурить, а сейчас у них никогда нет времени. Даже долг перед мастером они выполняют вроде как на бегу.

Почему у них с Матюшиным все получалось? Да потому, что был четкий порядок: она занята бытовыми проблемами, а он художественными. Как они радовались, если что-то удавалось им двоим! Например, она испекла отличный пирог, а у него вышла картина.

Теперь все на ней. Надо сготовить, нарисовать, написать. Вот еще одна проблема. Только она может решить, какой памятник поставить на могиле мужа.

Самый простой вариант — крест или звезда. К такой могиле надо подходить с «лицевой» стороны. А как же его идея соединения разных точек зрения, из которых ни одна не является предпочтительной? Может, лучше установить большой камень? С какой стороны на него ни посмотришь, он будет представлять не часть, а целое.

Словом, Громозова вступила в союз с природой. Так Матюшин объединялся с лесом, когда делал фигурки из корней. Вмешивался он только тогда, когда основной автор не справлялся, и ему следовало помочь.

Когда камень привезли, Ольга Константиновна занялась ракурсом. Наконец валун лег так, что стал похож на метеорит. Выходило, что Михаил Васильевич был человеком не отсюда. По крайней мере, в нашей галактике редко встречаются подобные экземпляры.

Обычно могила — это узкий прямоугольник, но тут был солидный квадрат. Громозова думала не только о том, что когда-нибудь ее тут похоронят, но и о композиции. К пространству вокруг памятника она отнеслась как живописец к холсту.

Судя по фото, образ был найден не сразу. Сперва камень вольно существовал среди кустов и травы. Надпись «Художник Михаил Матюшин» нанесли масляной кра-

ской. Все это окружили чем-то вроде штaketника. Для надгробия убежденного дачника, любителя грибов и ягод это очень подходило.

Пока Ольга Константиновна собиралась заменить деревянное на железное, а написанное краской выбитым на табличке, началась война. Ездить на «свои» могилы стало невозможно. Фронт то приближался, то удалялся. Обязанности людей, чтущих память близких, откладывались до победы.

Особенно непонятно было с Гуро: после недолгого присоединения к СССР, Уусикиркко опять вернулось в Финляндию. Ольга Константиновна успокаивала себя тем, что кладбище финское, и это, возможно, защитит могилу подруги.

С Мартышкиным все тоже было неясно. Громозова пожаловалась Вишневному, а тот предложил помочь. У него были машина с шофером и волшебные корочки корреспондента «Правды». С этим документом можно было преодолеть любые запреты.

Вишневецкий сделал все, что обещал. Где-то стреляли, а на кладбище было тихо, как прежде. Чтобы найти могилу, пришлось побродить. Это городские погосты разделены на улицы, а тут все лежат вместе, порой даже без оград.

Казалось бы, место ничем не примечательное, но ему что-то привиделось. Моряку фантазии не положены, а писателя без них не бывает. В пространстве с валуном в центре он увидел «могилу рыцаря».

Разумеется, Всеволод Витальевич этим поделился. Почему-то кажется, что Громозова его переспросила: «Бедного рыцаря?» Вроде как уточнила: речь о всяком рыцаре или о том, о котором писали Гуро и Матюшин?

Было ли это утверждать трудно, а следующую фразу Ольга Константиновна точно произнесла.

— Да, рыцаря. Там все вокруг — поэзия.

Кажется, слово «вокруг» проговаривается, и вперед выходит «круг». Вот что пытался создать ее муж. Тем важнее, что рядом с его памятником шла жизнь. Цвело, зеленело или утопало в снеге и слякоти.

Может, в кипении дело? Вроде здесь неприменимо слово «живучесть», но как еще это назвать? Рядом шли бои, но с могилой ничего не случилось. Вроде война коснулась всего, а тут не оставила даже царапины.

Казалось бы, после войны можно выдохнуть и сделать то, что планировали. Установили табличку и новую ограду, а кусты вырубил. Вокруг камня опустело, и он еще больше стал похож на метеорит.

Когда закончили работы в Мартышкине, стали обсуждать, что делать с могилой Гуро. Подумывали опять установить ящик с книгами. Пусть новое поколение знает, что, кроме «Тихого Дона» и «Молодой гвардии», есть и такая литература.

Победа всех делает оптимистами. Даже если твои мысли относятся к кладбищам. Тем обиднее, когда что-то не выходит. Когда Громозова собралась в Уусикиркко, ей сообщили, что уже поздно. Могила пережила немцев и финнов, но не устояла перед местной шпаной.

Хулиганы всегда приходят туда, откуда можно уйти безнаказанными. Так что кладбище для них — идеальное место. Мертвые не поднимаются, а живые находятся далеко.

Конечно, они не знали, кто такая Гуро. Просто ее могила находилась в центре, а у них в руках были железные палки. Наконец от замысла Матюшина не осталось ничего. Если не считать неподвластных человеческой воле неба и холма.

В последние годы только могила напоминала о Гуро. Впрочем, и без надгробия это пространство принадлежало ей. Когда кто-нибудь спрашивал, где она похоронена, отвечали без колебаний.

На сей раз крапива с чертополохом отступили. Значит, дело не в публикациях и выставках, а в том, что есть что-то неуничтожимое. Тут так же, как с упомянутыми небом и холмом. Ничто не помешает одному нависать, а другому выситься.

ЭПИЛОГ. ДО И ПОСЛЕ. 1945—2024

Все же жизнь продолжалась. В чем-то она не отличалась от той, что была до войны. Ольга Константиновна опять писала повести и вела переговоры с редакторами.

Об этом мы уже говорили, а об одной проблеме не упомянули. После войны многие вернулись в Питер и обнаружили, что квартир у них нет. Оставалось уплотнить тех, кто слишком широко жил. В двух из трех комнат, занимаемых Громозовой, можно было разместить пару семей.

Наверное, она бы не возражала, но куда девать архив и картины? Да и те люди, что у нее бывают, не должны чувствовать себя в тесноте.

Громозова вспомнила Кочетова, Прокофьева, Вишневого и остановилась на Вишневском. Столичные действуют на власти лучше местных. По старой, еще гоголевской, традиции они видят в них ревизора.

«О. К. Матюшина пишет о том, что в Ленинграде начинают уплотнять квартиры, — записывает в дневнике Вишневецкий, — и чтобы я принял меры относительно домика (!). Начинается быт, — героическая битва Ленинграда закончена!»

Она опять не ошиблась. Звонок произвел нужное впечатление. Уплотнение предотвратили, но тут выяснилось, что есть проблема посложнее. Раздавались голоса, что деревянный дом в центре города выглядит странно и вместо нее надо построить кирпичный.

Все же не зря Песочная с сорокового года носит имя изобретателя радио. Попов — символ прогресса, движения вперед, а тут что-то из совсем другого времени.

Самые жалостливые предлагали создать музей. Это должно было подчеркнуть, что настоящее для дома закончилось и теперь он принадлежит прошлому.

Чему посвятить экспозицию? Гуро и Матюшина для начальства не существовало, так что оставались авторы пьесы. В пятьдесят первом году умер Вишневецкий, но его соавторы были живы. Крон приедет из Москвы, а Азаров зайдет по-соседски. По праву героев и едва ли не экспонатов они расскажут о жизни в блокаду.

Да и сама Громозова — чем не героиня и экспонат? Кстати, заодно можно помянуть предшественников. В самые не подходящие для искусства годы она не снимала их работы со стен. Когда ее просили это сделать, говорила: а вы бы смогли выбросить вещи умерших родственников?

Как добиться такого музея? Ее всегдашняя палочка-выручалочка — это Прокофьев. Он хорошо к ней относится и всегда помогает. К тому же музей расскажет о четырех членах Союза писателей, а он глава ленинградской организации.

В Смольном Прокофьев поделился этой идеей. Разговоры о страданиях в блокаду не одобрялись, а пропустить дату было нельзя. Так что предложение оказалось кстати. Авторы «Раскинулось море...» голодали и холодали, но задание выполнили. Хватило воли создать нечто легкомысленное.

Создание музея записали на неопределенный год. Несколько раз начальство этими планами отчитывались, но на всякий случай сроков не называли.

Как известно, что написано пером — не вырубить топором. Не сейчас, так потом музей бы открыли, но у Прокофьева изменилось настроение. Он охладел не столько к этой идее, сколько к писателям.

Можно порадоваться тому, что трое пишут пьесу, а если они что-то замышляют? Этому вопросу предшествовало собрание в Союзе писателей, состоявшееся в середи-

не января шестьдесят пятого года. На нем Александра Андреевича не переизбрали на следующий срок.

Всю жизнь Прокофьев командовал и распоряжался. Никогда не чувствовал себя частным лицом, а вдруг стал пенсионером. Конечно, его ордена и премии никуда не делись, но это все же не то, что было прежде.

Как тут не усомниться в том, что музей может рассказывать о современниках? Пока человек жив, он способен на любые неожиданности. Вот и его история это подтверждала: казалось, все будет нормально, а вот оно как повернулось!

Примерно такой путь проделала железная пепельница. Сперва она была нужна всем, а потом только курящим. Да и смысл ее деятельности изменился. Выделять лучшее, указывать путь — это совсем не то же, что быть хранилищем пепла.

Так что обида осталась. На всю организацию, но особенно на тех, кто на собрании промолчал. Азаров знал, что Прокофьев хлопочет о музее, но решил не вмешиваться. Уж очень памятна была отставка Хрущева несколько месяцев назад. Казалось, нет никого всесильней, а буквально за день он исчез с газетных страниц.

Кстати, Прокофьев был очень похож на Хрущева. Такой же круглый, невысокий, быстрый в движениях. Возможно, увольнение одного вдохновляло писателей на отставку его двойника.

Громозова поняла, что Прокофьев охладел к этой затее, но продолжала крутить телефонный диск. Всякий раз ей отвечали, что ситуация сложная и надо немного подождать.

На самом деле начальству было все равно. На то оно и начальство. Ничего не будет — похвалят за экономию средств. Если же музей откроется, они тоже без благодарностей не останутся.

Несколько раз Ольга Константиновна звонила Прокофьеву, но близкие его к телефону не звали. К этому времени он действительно сдал. В бытность руководителем болезни его избегали, а почуяв частного, почти беззащитного человека, пошли косяком.

Сперва у него случился инсульт, а потом на дачном участке он сломал руку. С повязкой через шею вид у него был совсем грустный. Казалось, все против него — рука была правая, и теперь приходилось писать левой.

В семьдесят первом году Александр Андреевич ушел из жизни. Это был ясный сигнал для Громозовой. Пока он был жив, она верила, а теперь надежд почти не осталось.

Впрочем, сейчас было ясно, что если даже что-то получится с музеем, она вряд ли это увидит.

Уже не было речи о будущем, а только о том, чтобы ненадолго задержаться в настоящем. Скоро вышло и это время. В семьдесят пятом году она умерла. Похоронили ее в Мартышкине, под одним камнем с Матюшиным. Как мы помним, у нее были сложные отношения с прошлым, но этот камень ее с ним примирил.

При таком властном характере сложно исчезнуть совсем. Уже после смерти она не раз давала о себе знать. К примеру, на ее наследство претендовала дочь сестры Тамара, но по завещанию все перешло в Музей истории Ленинграда.

Так Ольга Константиновна из-за гроба натягивала ниточку. Пыталась активизировать музейщиков. Вскоре они забрали картины и мебель, но особенно жадно поглядывали на антресоли. Казалось, в хранившихся там чемоданах спрятано самое главное.

Каково же было разочарование! Когда открыли чемоданы, к потолку взошли столбы пыли. Эта почти дымовая завеса скрывала килограммы осколков и километры тряпок.

Конечно, это старческое — ничего не выбрасывать, а только накапливать. Такое собрание напоминает умножение сущностей. Вроде всего много, а по сути, нет ничего.

Может, это и есть итог жизни Громозовой? Сколько написано и нарисовано, а предъяснить нечего. Настоящие богатства, так или иначе с ней связанные, надо искать в другом месте.

Как бы то ни было, опять вспомнили о музее блокадных писателей. Правда, человека, равного ей по упорству, не нашлось. В основном проводили совещания и говорили: как это было бы хорошо!

Дом по-прежнему жил двойной жизнью. Хотя по документам он был почти музеем, для его жильцов ничего не менялось. Они по очереди убирали места общего пользования и высаживали лук на грядках в саду.

Так бы все и продолжалось, если бы не перестройка. Из-под сукна доставались несуществующие идеи. Правда, приоритеты поменялись. Блокадные писатели ушли в тень, зато все заинтересовались искусством авангарда.

Неужто настал час для Гуро и Матюшина? Выходит, что так. Правда, торжествовать было рано. После того как расселили жильцов, случился пожар. Говорят, это сделали бомжи, то есть практически никто. На то они и без определенного места жительства, чтобы не попадаться.

Вскоре вместо сгоревшего построили новый сруб. Тут закончилось финансирование. В эти годы дистанция между надеждами и крахом сократилась до минимума. Иногда было не различить: это еще свершение — или уже катастрофа?

Оставалось надеяться на чудо. Сидишь у разбитого корыта, ничего не ждешь, а вдруг выплывает золотая рыбка... Что-то такое случилось сейчас. Правда, денег хватило не на «избу со светелкой», как у Пушкина, но хотя бы на продолжение строительства.

Наконец работы закончились. Дом на Песочной стал как новенький. Говорить об этом можно без «как» — к прошлому имел отношение фундамент, а все прочее было новоделом.

В декабре 2006 года при большом стечении народа здесь открывали Музей петербургского авангарда.

Когда строят заново, о полном сходстве говорить не приходится. Лестницы с улицы на второй этаж нет, но зато восстановлена лестница в доме. Ее деревянные ступеньки поскрипывают. Ощущаешь себя не экскурсантом, а гостем живших тут когда-то людей.

Такие дома лучше всего подходят для жизни. Ведь тут мы соразмерны пространству. Легко вписываемся в него подобно тому, как вписаны фигуры на картинах, висящих по стенам.

Мы знаем, что искусство бывает высокомерно. Вы тянетесь к нему, а не оно к вам. Ничего такого нет в этих работах. Они не учат и не поражают, но могут согреть подобно варежкам или муфте.

Впрочем, как иначе? Это не просто музей, а дом-музей. Больше дом, чем музей. К лестнице и живописи прибавим столярные инструменты хозяина и куклы, сделанные хозяйкой... Еще не забудем сад за окном. Его отделяет от улицы не железная ограда, а дачный деревянный забор.

Легко представить, что мы находимся в Уусикиркко, Мартышкине или Териоках и вскоре все начнется сначала.

Пока же подведем итоги. Если «Бог сохраняет все», как написано на гербе, украшающем ворота Шереметевского дворца, он позаботится и о наших героях. Не только о Гуро, Матюшине и Громозовой, но и о тех, кто бывал на Песочной. Ведь «все» — это не только лучшее и значимое, но весь путь — вплоть до того, к чему мы пришли.